

Марта Квест

Автор:

Дорис Лессинг

Марта Квест

Дорис Мей Лессинг

Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий

В романе «Марта Квест» Лессинг расскажет о молодой идеалистке, бунтующей против обыденности. Все в мире ей наскучило, потеряло очарование. Она хочет читать взахлеб, мечтать о несбыточном и танцевать до упаду. Марта жаждет дать волю инстинктам и отправиться навстречу приключениям. Она получит такой шанс, вот только удастся ли им правильно распорядиться?

Дорис Лессинг

Марта Квест

© Кудрявцева Т., перевод на русский язык, 2016

© Издание на русском языке, оформление. ?ООО «Издательство «Э», 2016

* * *

Этот роман я посвящаю моей матери, которая оказывала мне такую великодушную и всестороннюю помощь, когда я его писала

Часть первая

Мне все так опротивело —

даже будущее,

хотя оно еще не наступило.

Олив Шрейнер

1

Две немолодые женщины вязали на веранде, защищенной от солнца завесой золотистого вьюнка; его тугие стебли были так густо усыпаны цветами, что оранжевые гроздья сдерживали, точно плотина, потоки слепящего полуденного света, который едва пробивался сквозь них. За этим пестрым барьером был затененный уголок, образованный с двух сторон стенами из глины, смешанной с навозом, а с третьей – скамейкой, уставленной раскрашенными жестянками из-под керосина, в которых росла красная и белая герань. Проникающие сквозь листву лучи солнца осыпали своими золотыми брызгами красный цементный пол и сидящих женщин. Они расположились тут с самого утра и будут сидеть до заката и болтать, болтать, благо язык без костей. Зовут их миссис Квест и миссис ван Ренсберг. На ступеньках веранды, на самом солнцепеке, примостилась Марта Квест, девочка лет пятнадцати, угловатая и неловкая: она то и дело меняла позу, стараясь, чтобы яркий свет не падал на лежащую на коленях книгу.

Марта хмурилась и время от времени кидала на женщин раздраженный взгляд: трещат без устали, никак не сосредоточишься. Но ведь ничто не мешало ей пересесть на другое место, поэтому злость, которая вспыхивала в ее душе всякий раз, когда к ней обращались с вопросом или когда в связи с тем или иным семейным событием упоминалось ее имя, была просто нелепа. А женщины нет-нет да и останавливали на девочке рассеянный, невидящий взор и даже

понижали голос; тогда она поднимала голову и бросала на них взгляд, исполненный откровенного презрения, ибо она читала книгу Хэвелока Эллиса о проблеме пола и приняла все меры к тому, чтобы это дошло до сознания миссис Квест и ее гости: и зачем они так глупо переходят на шепот всякий раз, когда, сдабривая жвачку унылых пересудов о своей жизни, прислуге, детях, стряпне, заводят речь о чьих-нибудь родах или каком-нибудь скандале. По правде говоря, Марта читала вовсе не Хэвелока Эллиса, а совсем другую книгу, которую ей дали братья Коэн со станции; творение же Эллиса лежало на верхней ступеньке заглавием кверху, главным образом для того, чтобы позлить взрослых. Но ведь беседы между матерями семейств следуют определенному ритуалу, и Марте, которая большую часть своей жизни провела в атмосфере таких разговоров, пора бы знать, что у собеседниц и в мыслях нет кого-либо оскорбить. Просто когда они входили в свои роли, им хотелось и Марту видеть в соответствующей роли «молоденькой девушки».

А на другом конце веранды в двух шезлонгах, поставленных рядом, сидели, глядя на буйные заросли кустарников и маисовые поля, мистер Коэн и мистер ван Ренсберг и беседовали об урожае, о погоде, о проблеме взаимоотношений с цветными. Оба джентльмена решительно повернулись спинами к женщинам, словно хотели подчеркнуть, что мужчинам, живущим неделями в накаленной атмосфере своего семейства и вне дома знающим только полевые работы, просто необходимо иной раз потолковать на отвлеченные темы. То, о чем они говорили, было так же хорошо знакомо Марте, как и то, о чем говорили женщины; обе беседы двумя струями неторопливо вливались в ее сознание и проходили через него подобно току крови, который она ощущала, лишь когда с раздражением вытягивала длинные, голые, загорелые ноги, затекавшие от неудобного положения. Услышав навязшую в зубах фразу: «Правительство рассчитывает, что фермеры...» и в ответ: «Кафры совсем распустились, ведь они...», Марта резким движением выпрямилась, и ее раздражение перешло в чувство неприязни к родителям. Просто невыносимо слушать все одно и то же: с тех пор как она себя помнит, они ни о чем другом не говорят, – и Марта перевела взгляд на раскинувшийся до самого горизонта вельд?[1 - Южноафриканская степь, перемежающаяся с низкорослыми деревьями и кустарником. – Прим. перев.].

В книгах, которые читала Марта, под словом «ферма» разумелся небольшой, аккуратный, тщательно возделанный участок с чистеньким домиком, а вокруг – поля. Перед Мартой же на целую милю раскинулись заросли, и лишь за ними виднелась полоска красной распаханной земли; потом опять заросли – мрачные, темно-зеленые, они взбирались по склону холма, окружая другой клочок земли;

а за ним снова заросли – покрывая гряды за грядой, впадину за впадиной, они катили свои волны до самого горизонта, где вставала цепь голубоватых холмов. Видневшиеся вдалеке поля были только робкой попыткой изменить почти нетронутый человеком ландшафт. И если бы, скажем, ястреб, широкими кругами чертивший небо над головой Марты, посмотрел вниз, он увидел бы под собой дом, торчавший на верхушке пологого холма, кучку камышовых хижин – селение туземцев, сгрудившееся на полмили ниже, – с десятков обработанных участков и больше ничего, что могло бы привлечь его взгляд, издревле устремленный вниз, ничего, что не было бы известно тысячам поколений предков этого ястреба.

Дом Квестов стоял на холме, в центре обширной, опоясанной горами котловины, и словно врезался в синеву небес, открытый всем ветрам. Прямо перед ним были Дамфризовы холмы, от которых его отделяло семь миль; семь миль было и до Оксфордской цепи, которая постепенно переходила на западе в покатые холмы; семь миль и до длинной горбатой горы на востоке, называвшейся Джейкобс-Бург. Позади не было ни гор, ни холмов – необъятная, бескрайняя равнина тянулась на север, сливаясь с голубоватым маревом и словно уводя в страну мечты, без которой немислима жизнь.

А над всем этим, подобно опрокинутой чаше, лежало безоблачное африканское небо, так ослепительно сверкавшее, что у Марты резало глаза и она вынуждена была смотреть вдаль, а не вверх. Эти привычные безбрежные просторы вызывали у девочки лишь неприятное ощущение, какое, вероятно, бывает у птицы, попавшей в клетку.

Она перевела взгляд на книгу. Читать ей не хотелось: это был научно-популярный труд, самое название которого вызывало в Марте легкое, но безусловное раздражение. Если бы Марта умела выразить свои чувства словами, она, быть может, сказала бы, что спокойная деловитая манера изложения просто не соответствует ее смятенному душевному состоянию; а быть может, девочку настолько раздражали окружающая среда и собственные родители, что раздражение это распространялось на все, что попадало в ее поле зрения. Она отложила книгу и взяла Эллиса. Вообще говоря, пятнадцатилетнему подростку едва ли может показаться скучной книга, посвященная проблеме пола, но Марта никак не могла ею увлечься: интересные факты, которые были в ней подобраны, казалось, не имели никакого отношения к тем проблемам, которые девочка пыталась для себя решить. Она подняла глаза и испытующе посмотрела на миссис ван Ренсберг, мать одиннадцати детей.

Это была толстая, добродушная и в общем приятная женщина, в аккуратном цветастом ситцевом платье, свободном и длинном, с белым платочком, повязанным вокруг шеи, что придавало ей сходство с портретом ее бабушки. Длинные юбки и свободно повязанные вокруг шеи косынки были тогда в моде, но на миссис ван Ренсберг такой костюм производил впечатление чего-то старомодного. Марте это даже нравилось, но тут взгляд ее упал на ноги гостьи. Большие, бесформенные, мозолистые, с лиловыми венами, проступавшими сквозь покров загара, они беззастенчиво вылезали из зеленых сандалий, ища удобного положения. И Марта вдруг подумала с отвращением: ведь у миссис ван Ренсберг такие ноги потому, что у нее много детей.

Миссис ван Ренсберг была, что называется, женщина необразованная и (при случае, если того требовали приличия) могла посокрушаться о своем невежестве, хотя, глядя на нее, нельзя было сказать, что она жалеет об этом, – да она и не жалела. И все-таки сокрушалась, когда, скажем, миссис Квест вызывающе утверждала, что Марта – умница и уж конечно выбьется в люди. То, что голландка умудрялась сохранять при этом полнейшее спокойствие и добродушие, служило лишь доказательством ее силы воли, ибо выражение «выбьется в люди» миссис Квест употребляла вовсе не в том смысле, что Марта, скажем, станет врачом или юристом, – нет, это утверждение имело целью поразить мир и означало: «Моя дочь будет человеком, а ваша – просто чьей-нибудь женой». В свое время миссис Квест была типичной английской девушкой, хорошенькой, с мальчишеской фигурой, светло-каштановыми косами и голубыми, ясными, как весенний солнечный день, глазами; теперь же это была усталая, разочарованная в жизни, но решительная матрона, питающая честолюбивые планы относительно будущего своих детей, – впрочем, она стала бы такой, если бы и не покидала Англии.

Обе женщины уже много лет жили в этой сельской глуши, в семидесяти милях от ближайшего городка, который и сам-то был изрядным захолустьем; но в наши дни нет такого места на свете, которое было бы отрезанным от мира: у обоих семейств имелось радио, и они регулярно получали газеты «из дому» – консервативные газеты из Англии для Квестов и националистические листки из Южно-Африканского союза для ван Ренсбергов. Обе женщины были достаточно хорошо знакомы с духом времени и отдавали себе отчет в том, что кое-что в поведении детей может их шокировать – взять хотя бы эту самую книгу, которую Марта держит сейчас в руках; для них ее название отдавало клиникой, они о таких вещах и не задумывались. Вообще-то поведение Марты не вызвало бы ничего, кроме традиционного добродушно-сокрушенного вздоха, если бы ее упорное сидение на ступеньках не было само по себе вызывающим. И миссис

Квест, считая необходимым каждые полчаса напоминать Марте, что она дождется солнечного удара, если не уйдет в тень, полагала равно необходимым время от времени вставлять сентенцию о том, что такое чтение едва ли может принести девушкам особый вред; услышав это, Марта бросала на кумушек взгляд, исполненный глубочайшего презрения, – взгляд человека несчастного и отчаявшегося, ибо в глубине души она сознавала, что взялась за эту книгу им назло, из чувства самоутверждения, а теперь это надежное оружие вдруг потеряло свой смысл и всю свою остроту.

Три месяца назад ее мать гневно заявила, что Эпштейн и Хэвелок Эллис омерзительны:

– Если через тысячу лет ученые займутся раскопками нашей цивилизации и найдут статуи Эпштейна и писания этого самого Эллиса, они решат, что мы были настоящими дикарями.

В эту пору жители колонии – без всякого желания с их стороны – были приобщены (по причинам дипломатического и финансового порядка) к так называемому «модернистскому искусству», что вызвало у них такую реакцию, словно им – каждому порознь и всем вместе – нанесено величайшее оскорбление. Статуи Эпштейна, уверяли они, даже условно нельзя признать изображением человека. Миссис Квест заимствовала эту точку зрения из передовой статьи «Замбези ньюс» – это было, пожалуй, первое суждение об искусстве и литературе, которое она высказала за последние двадцать лет. Марта же немедленно отправилась на станцию и взяла у братьев Коэн книжку об Эпштейне. Тут-то и выявилось одно из преимуществ человека, чьи вкусы не были сформированы под влиянием той или иной школы, – он способен смотреть на работы какого-нибудь Эпштейна с тем же глубоким интересом, что и на творения Микеланджело. Именно так и получилось с Мартой. Она была озадачена тем, что увидела, и решила показать матери книгу с репродукциями работ Эпштейна. Но миссис Квест в ту минуту была очень занята, да и впоследствии так и не выкроила времени, чтобы объяснить Марте, почему эти творения так непристойны и отвратительны, равно как и писания Хэвелока Эллиса.

И Марте казалось, что она совсем дура и всеми отринута. К тому же она знала, что у нее дурной характер и что она груба. Каждый день она принимала решение, что «отныне» будет совсем другой. Но сидевший в ней бесенок роковым образом всегда брал верх, вынуждая ее настораживаться при

малейшем замечании матери, взвешивать его и, принимая вызов, огрызаться, хотя противника к этому времени уже и след простыл, ибо миссис Квест вся эта полемика просто не интересовала.

– Ах, – сказала миссис ван Ренсберг, помолчав, – важно не то, что человек читает, а как он себя ведет. – И она с искренним расположением посмотрела на Марту, ставшую пунцовой от злости и долгого пребывания на солнце. – У тебя разболится голова, девочка, – машинально добавила она.

Но Марта даже не шевельнулась, упрямо склонившись над книгой, только глаза ее наполнились слезами.

Кумушки же, естественно, принялись болтать о том, как они вели себя, когда были молоды, опуская, впрочем, некоторые подробности, ибо миссис ван Ренсберг понимала, что многое в ее жизни могло бы смутить англичанку; поэтому они обменивались не воспоминаниями, а фразами, подсказанными им традициями, которые в общем мало чем отличались друг от друга, хотя миссис ван Ренсберг принадлежала к голландской реформистской церкви, а Квесты – к англиканской. Политических проблем они никогда не обсуждали, как не обсуждали и... Но что же они, собственно, обсуждали? Марта часто думала о том, что их многолетняя дружба, в сущности, устояла потому, что они о многом умалчивали – точнее, обо всем сколько-нибудь важном; эта мысль вызывала в девочке возрастающую неприязнь ко всему, что ее окружало, – неприязнь, постепенно ставшую в ней преобладающим чувством. С другой стороны, поскольку одна из приятельниц была закоренелой англичанкой, а вторая – закоренелой африкандеркой?[2 - Потомки голландских колонистов в Африке. – Прим. ред.], их дружбу можно было рассматривать как победу такта и добросердечия над почти непреодолимыми препятствиями, ибо в силу традиций они должны были ненавидеть друг друга. Марте подобные взаимоотношения казались, конечно, недопустимыми, ибо ее представления о дружбе были совсем иными и она до сих пор ждала появления настоящего, идеального друга.

«Друг, – переписала она чью-то мысль себе в дневник, – это прекрасный плавучий остров, поросший пальмами, который вечно ускользает от морехода, скитающегося по волнам Тихого океана...» – и так далее, до следующей подчеркнутой фразы: «Прошел слух, что земля эта обитаема, но потерпевший крушение мореход не видел на берегу следа человеческой ноги». И ниже: «Наши настоящие друзья – лишь отдаленное подобие тех, кому мы отдали свою душу».

Но неужели можно считать миссис ван Ренсберг хотя бы таким «отдаленным подобием»? Конечно нет. Это было бы осквернением священного понятия дружбы.

Марта слушала (уже не в первый раз) нескончаемый рассказ миссис ван Ренсберг о том, как за нею ухаживал мистер ван Ренсберг, – рассказ, до смешного лишенный всего, что хоть в какой-то мере могло быть названо романтическим (только не Мартой, инстинктивно разделявшей взгляды своего времени и отрицавшей романтику). Затем миссис Квест – в той же смешной манере, хоть и гораздо суше – рассказала о том, как выходила замуж она. Окончив свои повествования, подвергшиеся пусть непроизвольной, но тщательной цензуре, обе женщины посмотрели на Марту и одновременно сокрушенно вздохнули. Традиция требовала, чтобы они проповедовали осторожную мораль, которая помогала бы молодежи, была бы основой их разумной и достойной жизни; но, взглянув на лицо Марты, обе женщины растерялись. Миссис ван Ренсберг нерешительно помолчала, затем твердо заявила (твердость эта была направлена на то, чтоб подавить свою же собственную нерешительность):

– Девушка должна вести себя так, чтобы мужчины уважали ее.

Марта взглянула на нее с такой ненавистью и презрением, что почтенная матрона даже вздрогнула и поспешно повернулась к миссис Квест, как бы ища у нее поддержки.

– Конечно, – довольно неуверенно согласилась миссис Квест. – Мужчина ни за что не женится на девушке, которую он не уважает.

Марта медленно выпрямилась, захлопнула книгу, точно больше в ней не нуждалась, и, поджав губы, вся побелев от усилий, которых ей стоило сдержать свою ненависть, в упор посмотрела на обеих женщин. Затем поднялась и сказала тихим, сдавленным голосом:

– Какие вы гнусные: все взвешиваете, рассчитываете... – Тут она вынуждена была умолкнуть: от возмущения у нее перехватило дыхание. – Вы отвратительны, – дрожащими губами выговорила наконец она. И, повернувшись, бегом пересекла садик и исчезла в зарослях.

Обе женщины молча смотрели ей вслед. Миссис Квест была огорчена: она не понимала, почему дочь считает ее отвратительной; а миссис ван Ренсберг силилась найти подходящие сочувственные слова.

– Трудный ребенок, – виновато пробормотала миссис Квест.

А миссис ван Ренсберг сказала:

– Такой уж возраст; моя Марни ничуть не лучше.

Она и не предполагала, что слова ее были совершенно не к месту: миссис Квест никогда не поставила бы свою дочь на одну доску с Марни, которую она считала девушкой дурного тона – в пятнадцать лет красит губы, одевается как взрослая, и только и разговору, что о «мальчишках». Но миссис ван Ренсберг и не догадывалась, что задела самое болезненное место миссис Квест. Строгость, с какой воспитывали Марту, миссис ван Ренсберг относилась за счет чисто английской придури своей приятельницы; что же касается Марни, то миссис ван Ренсберг была вполне уверена, что из нее выйдет разумная женщина, хорошая жена и мать. Итак, она продолжала разглагольствовать о Марни, а миссис Квест, не зная, как прервать свою бестактную собеседницу, внимала ей, время от времени вставляя: «Конечно», «Совершенно верно», про себя же думала: «Вся беда в том, что Марте приходится общаться с неподходящими девушками», разумея ту же Марни. Но голландка продолжала гнуть свою линию, ибо чувство национальной гордости было у нее развито не менее сильно, чем чувство превосходства у англичанки; тем не менее скоро их беседа снова перешла на служанок и стряпню. А вечером каждая принималась жаловаться мужу – одна с присущим англичанам неумением разбираться в классовых проблемах говорила, что миссис ван Ренсберг «ужасно нудная», а другая напрямик заявляла, что эти английские выродки когда-нибудь ее доконают: все на один манер, вообразили, будто им принадлежит вся земля, по которой они ступают. Но можно было предсказать заранее, что через некоторое время, смутно чувствуя себя виноватыми, приятельницы схватятся за трубку местного телефона, позвонят друг другу и проболтают с полчаса о слугах и стряпне. И все пойдет обычным чередом.

Тем временем Марта в припадке девичьей тоски лежала в высокой траве под деревом, повторяя про себя, что ее мать – отвратительное существо и что вообще «все эти старухи» отвратительны, а все знакомые, с их ложью, увертками, компромиссами, просто мерзки. Тоска эта – особая, и свойственна она молодым людям: им кажется, что обстоятельства мешают им наслаждаться

всей полнотой жизни, которой так жаждет каждый их нерв, все их чувства.

Марта успокоилась довольно быстро. В ней пробудился инстинкт самосохранения, и она вся сразу как-то собралась и ожесточилась. Суровым и удивленным взором смотрела она на раскинувшиеся у ее ног, залитые солнцем, сверкающие заросли – она не видела их, она видела лишь себя, а видеть себя она могла только сквозь призму литературы. Если читать романы из жизни прошедших времен и считать, что они правильно отражают – как мы надеемся и верим – жизнь описываемой эпохи, то волей-неволей приходишь к убеждению, что жить молодым людям в те времена было куда легче, чем теперь. Разве X, Y и Z, эти жизнерадостные герои и героини, ненавидели школу, презирали не понимавших их родителей и учителей, вели всю жизнь борьбу за то, чтобы вырваться из среды, которую они считали неизмеримо ниже себя? Нет, конечно; а вот когда через сотню лет будут читать романы о нашем времени, то придут к выводу, что для всех без исключения юность была своего рода болезнью, ибо трудно найти хотя бы один роман, в котором не говорилось бы об этом. Ну а дальше что? Марта металась и не видела выхода.

Быть может, думала она (обращаясь к горькому юмору – ее прибежищу в такие минуты), нужно просто поставить крест на периоде, скажем, с четырнадцати до двадцати лет, как на чем-то predetermined, и ждать наступления более счастливых времен, когда молодое существо – в полном сознании своей правоты – сможет опять наслаждаться жизнью? Какие счастливыцы писатели будущего! Они смогут с легким сердцем писать о чем угодно, не испытывая чувства, что уклоняются от решения каких-то проблем: такая же вот Марта пойдет, как все дети, в школу, будет уважать своих учителей и любить родителей, будет уверенно смотреть в будущее, зная, что ее ждет счастливая и разумная жизнь! Но в таком случае (и тут Марта почувствовала, как ее всю передернуло от злости на этих холодных, равнодушных менторов, назойливо и упорно анализирующих в многотомных трудах состояние ее духа) о чем же они станут писать?

После вспышки злости, в которой Марта искала выход для обуревавших ее чувств, ей стало легче, она опять поверила в свои силы и, улегшись на спину, принялась раздумывать о себе. Хотя она часто с обидой сознавала, что на нее возложено бремя, о котором молодежь былых времен и понятия не имела, она не менее ясно сознавала и то, что выковывает оружие, которое поможет ей нести это бремя. Правда, она чувствовала себя несчастной, но в то же время обладала способностью бесстрастным оком взирать на свое несчастье. Этой способностью наблюдать себя со стороны – как если бы в мозгу ее, сразу за лобной костью,

оживало крошечное ярко освещенное пространство – она была обязана братьям Коэн со станции, которые последние два года давали ей читать разные книжки. Джосс Коэн интересовался экономикой и социологией; книги на эти темы Марта читала, но они не волновали ее. Солли Коэн был прямо влюблен (другого слова не подберешь) в психологию: он страстно защищал все, что имело к ней хоть какое-то отношение, даже если взгляды любимых им героев противоречили друг другу. Вот из этих-то книг Марта и уяснила себе, что она такое, если смотреть со стороны. Она – подросток, и потому самой судьбой ей суждено быть несчастной; англичанка – и потому должна чувствовать себя неловко, всю жизнь обороняться от нападок; живет в четвертом десятилетии двадцатого века – и потому не может не сталкиваться с проблемами рас и классов; женщина – и потому вынуждена протестовать против закабаления женщин, существовавшего в прошлом. Ее мучило чувство вины, ответственности, стыда, но она не стремилась избавиться от этих мучений, хотя временами понимала, что братья Коэн, благодаря которым она увидела себя такой, испытывают от этого некое злобное удовольствие – вполне, впрочем, естественное. Порой она их ненавидела.

Но они, пожалуй, не ожидали, что умение объективно смотреть на себя со стороны приведет Марту к такому весьма неразумному выводу: «Ну хорошо, если обо всем этом уже давно сказано ясно и отчетливо, то зачем же мне мучиться? Раз нам это известно, почему мы еще и сами непременно должны пройти через это?» Она чувствовала, правда довольно смутно, что настало время сделать шаг вперед, к чему-то новому: уже недостаточно только называть вещи своими именами.

Главное же, что и сами эксперты, казалось, не знали, как она должна смотреть на себя. Одна группа утверждала, что ее участь была уже predetermined, когда она – слепой комочек – еще ворочалась в утробе миссис Квест. Она прошла через все стадии – рыбы, ящерицы, обезьяны, ее баюкали воды древних морей, в ушах отдавался гул прилива. Но этот прилив – ток крови миссис Квест – пел Марте не о чем-то далеком и неведомом – то были песни гнева, любви, страха, возмущения, оседавшие в податливом мозгу младенца, как веления рока.

Другие эксперты считали, что самый процесс рождения определил дальнейший путь Марты. В ту долгую ужасную ночь, в ночь тяжелых родов, когда все внутренности миссис Квест конвульсивно сжимались, стремясь освободиться от бремени, протолкнуть его сквозь неподатливые ворота костей (ибо миссис Квест была уже немолода для первого ребенка), в то самое время, когда Марта

появилась на свет, вконец обессиленная, с багрово-красными следами от щипцов на лице, – и сложился ее характер, предопределивший всю ее дальнейшую жизнь.

А сколько было еще всяких школ и группок, сходявшихся только в том, что в первые пять лет жизни закладывается основа всего последующего. Именно в эти годы (хотя Марта не помнила их), оказывается, происходили какие-то события, которые навсегда наложили на нее свой роковой отпечаток. О роке, предопределении твердили все. Марте, во всем несогласной со своими родителями, постоянно внушали, что ей не освободиться от их влияния и что слишком поздно себя переделывать. Она дошла до того, что чтение любой книги на эту тему вызывало у нее ощущение опустошенности и усталости, совсем как после долгих препирательств с матерью. Когда туземец-носильщик, чуть не бегом бежавший через вельд, приносил ей новую пачку книг от братьев Коэн, один вид этих книг уже приводил Марту в бешенство: на нее вдруг нападала усталость, и, лишь преодолев внутреннее сопротивление, она заставляла себя взяться за них. В ее спальне валялось с десятков книг, но она и не притрагивалась к ним: она знала, что, прочитав их, будет располагать более обширными сведениями о себе и будет еще меньше знать, как эти сведения использовать.

Но если Марта чувствовала себя несчастной от чтения книг, которые присылали ей Коэны, то те дни, когда она могла зайти к ним в лавку и повидать их, были счастливейшими в ее жизни. Беседа с ними преисполняла ее радостного возбуждения, все казалось ей тогда легким и достижимым. Когда ее родители приезжали на станцию, она тут же устремлялась в лавку для кафров; а иной раз ее подвозила туда попутная машина. Иногда же она ездила туда на велосипеде – только тайно, поскольку это ей запрещалось. Но дружбе ее с Коэнами не хватало простоты и открытости, и виною тому была миссис Квест. Не далее как на прошлой неделе она пререкалась по этому поводу с Мартой. Но не такой человек была миссис Квест, чтобы прямо сказать: «Я не хочу, чтобы ты водилась с этими евреями лавочниками». А потому начала она с того, что, мол, евреи и греки без зазрения совести эксплуатируют туземцев – больше, чем кто-либо, – и кончила тем, что прямо не знает, как быть с Мартой: она, видно, решила вогнать в гроб свою мать. И впервые на памяти Марты миссис Квест заплакала: хоть говорила она и не искренне, чувства ее были искренни вполне. И Марту глубоко взволновали слезы матери.

Накануне Марта совсем уже решила вытащить свой велосипед и отправиться на станцию – так ей необходимо было повидать братьев Коэн, но мысль о том, что мать опять устроит сцену, удержала ее. И она с виноватым видом поставила велосипед на место. Вот и сейчас, хотя ей больше всего на свете хотелось объяснить родителям, почему она так глупо и дико вела себя в присутствии миссис ван Ренсберг, – они добродушно посмеялись бы и происшествие перестало бы казаться чем-то из ряда вон выходящим, – Марта не могла принудить себя встать и выйти из-под сени большого дерева, не говоря уже о том, чтобы взять велосипед и тайком, в расчете, что никто ее не хватится, съездить на станцию. Поэтому она продолжала лежать под деревом, жесткие корни которого врезались ей в спину, и смотрела сквозь просветы в листве на ослепительное, отливавшее бронзой небо. Она растирала в ладонях мясистые листья и думала опять-таки о матери и миссис ван Ренсберг. Она не будет такой, как миссис ван Ренсберг, – толстой, практичной, хозяйственной женщиной; и не будет вечно ноющей, недовольной и раздраженной, как мать. Но на кого же она в таком случае будет похожа? Она перебрала в уме героинь, чьи образы подсказывала ей литература, и всех их отмела. Казалось, целая пропасть отделяет ее от прошлого; мысли, словно стая голодных рыб, металась, сталкиваясь в ее мозгу; она села, потирая затекшую поясницу, и посмотрела вниз вдоль аллеи, обсаженных чахлыми деревцами, туда, где за тонким ковриком бурой редкой травы лежали рыжие пятна полей, невидимые из дома.

Там ползла четверка волов, запряженных в плуг, за ними туземец погонщик с длинным хлыстом, а впереди шагал чернокожий малыш, весь голенький, если не считать набедренной повязки, держа в руках повод, продетый сквозь ноздри первой пары волов. Погонщик не вызвал у Марты никаких симпатий – это был человек жестокий и грубый, слишком уж усердно пользовавшийся своим хлыстом, но жалость, в которой Марта отказывала себе, обратилась на чернокожего малыша, окутала его словно одеялом. И опять мысли в ее мозгу закружились, сталкиваясь друг с другом, как льдины во время ледохода, и вместо одного маленького чернокожего она увидела множество и, по обыкновению, без труда перенеслась в страну грез, замечтавшись с открытыми глазами. Она смотрела вдаль, где за распаханными полями и вельдом возвышалась гряда Дамфризовых холмов, и силою мечты преображала эту девственную страну. Там, над колючей листвой зарослей и чахлых деревьев, сверкая белизной, встал величественный город – улицы его пересекаются под прямым углом, дома украшены колоннами, к ним ведут открытые, обсаженные цветами террасы. Из города доносятся звуки лютен и плеск фонтанов, а по улицам движутся его обитатели, такие красивые и степенные, – черные, белые, коричневые; старики останавливаются и с улыбкой удовольствия смотрят на

детей; голубоглазые беленькие детишки северян играют с бронзовыми темноглазыми детишками жителей юга, и взрослые улыбаются, глядя с одобрением, как дети столь разных отцов бегают вокруг белых колонн и высоких деревьев, среди цветов, окаймляющих террасы этого сказочного и древнего города...

Прошло около года. Марта сидела под тем же деревом, примерно в той же позе и бессознательно растирала между пальцами целые пригоршни листьев, превращая их в зеленую клейкую массу. Перед ее глазами стояло то же видение, только теперь все было продумано до мельчайших подробностей. Она могла бы начертить план этого города – от рыночной площади в центре до четырех ворот на окраинах. За воротами стоят ее родители, ван Ренсберги и большинство окрестных жителей, навеки изгнанные из этого солнечного города из-за узости и ограниченности своего кругозора; они удручены, им хочется войти в город, но их не пускает туда суровая, безжалостная Марта. К сожалению, за все, даже за мечты, приходится расплачиваться, и, по версии Марты, в золотой век у ворот прекрасного города непременно будет кто-то стоять и не пускать недостойных. Внезапно Марта услышала шаги и повернула голову: по узкой тропинке осторожно спускалась Марни, неуверенно ступая по камням на своих высоких каблуках.

– Эй, – взволнованно окликнула ее Марни, – слышала новость?

Ресницы Марты дрогнули, прогоняя видение, и она довольно сухо ответила:

– А, здравствуй.

Разница между нею и Марни сразу бросалась в глаза: волосы у Марни завиты, губы намазаны, ногти покрашены, на лице – жеманная, глупая улыбка, Марни нарочно улыбается так, чтобы казаться взрослее, только ей не удается подолгу сохранять эту маску, ибо девушка она от природы простая и здравомыслящая. Сейчас она была чем-то очень взволнована и походила на рослую школьницу, вырядившуюся потехи ради; однако при виде Марты, растянувшейся на траве и казавшейся в своем нескладном цветастом ситцевом платье преждевременно развившейся девчушкой лет одиннадцати (впечатлению этому способствовали длинные светлые волосы, перевязанные ленточкой), Марни вспомнила, что на ней нарядное платье, осторожно опустилась на траву, вытянула ноги в черных

туфельках на высоком каблуке и с довольным видом посмотрела на свои шелковые чулки.

- Моя сестра выходит замуж, - объявила она.

Их было пять сестер, две - уже замужние, поэтому Марта спросила:

- Которая же? Мари?

Теперь на выданье была Мари.

- Ну что ты, какая Мари! - нетерпеливо, с пренебрежением воскликнула Марни. - Да разве она когда-нибудь найдет себе мужа? Ведь в ней нет никакой изюминки.

При словах «найдет себе мужа» Марта вспыхнула, нахмурилась и отвернулась. Марни вопросительно посмотрела на нее и встретила такой презрительный взгляд, что тоже покраснела, хоть и не знала почему.

- Ты даже не спрашиваешь кто, - с укоризной, но все же несколько смущенно сказала она и тут же выпалила: - Хочешь верь, хочешь нет - это Стефани.

Стефани было семнадцать лет. Но Марта только кивнула, услышав новость.

Совсем сбитая с толку, Марни промолвила:

- Что ни говори, а она здорово устроилась. У него восьмицилиндровая машина, а ферма даже больше, чем у папки.

От этого «здорово устроилась» Марта снова в душе содрогнулась. Неожиданная мысль вдруг прорезала ее сознание: «Я критикую мать за презрение к людям, а сама презираю ван Ренсбергов и считаю себя вправе это делать только потому, что у меня это - от ума». Однако Марта не могла допустить, чтобы эта мысль приняла у нее отчетливую форму, - она хоть и с большим трудом, но все же занималась самовоспитанием. И, помолчав немного, она через силу выдавила из себя:

- Я рада. Хорошо будет погулять на свадьбе.

Но сказано это было без всякого воодушевления. Марни вздохнула и, чтобы утешиться, посмотрела на свои хорошенькие наманикюренные ноготки. Ей так хотелось бы потолковать по душам с какой-нибудь сверстницей. Хотя среди африкандеров, поселившихся подле фермы ее отца, и были девочки ее возраста, Марни восхищалась Мартой и мечтала подружиться именно с ней. Она чуть не сказала, захлебываясь от смеха, что ей самой уже шестнадцать лет и что на будущий год – если «повезет» – она тоже, как и Стефани, могла бы «найти себе мужа». Однако, встретив взгляд Марты, смотревшей на нее из-под нахмуренных бровей, Марни пожалела, что не осталась на веранде, где обе матери обсуждали захватывающие подробности ухаживания и замужества. Но такова уж традиция: мужчины должны беседовать с мужчинами, женщины – с женщинами, а дети играть с детьми. Марни не считала себя ребенком, тогда как Марта, по-видимому, считала. И Марни решила, что если она одна вернется на веранду, то сможет присоединиться к беседе женщин, а если с ней будет Марта, их непременно прогонят. Она сказала:

– Моя мама сейчас рассказывает все твоей.

На что Марта с безотчетным раздражением заметила:

– Ну, в таком случае она насплетничается всласть. – И тут же добавила, спеша заглазить свою неучтивость: – Маме это доставит большое удовольствие.

– О, я знаю, твоя мама не хочет, чтобы ты рано вышла замуж, она хочет, чтобы ты вышла в люди, – великодушно заметила Марни.

Но Марта снова нахмурилась и со злостью сказала:

– Нет, она была бы очень рада, если б я рано вышла замуж.

– А тебе самой хотелось бы, а? – ввернула Марни, пытаясь создать атмосферу, необходимую для того, чтобы «потолковать по душам».

Марта иронически усмехнулась.

– Рано выйти замуж? – переспросила она. – Это мне-то? Да я лучше умру. Связать себя по рукам и ногам детьми и хозяйством...

Марни удивленно посмотрела на подругу, та даже растерялась. Потом вызывающе бросила:

– А мама говорит, что ты влюблена в Джосса Коэна. – На лице Марты появилось такое выражение, что Марни испуганно хихикнула. – Ну, он-то, во всяком случае, влюблен в тебя, ведь правда?

– Влюблен?! – стиснув зубы, процедила Марта.

– Черт его знает; во всяком случае, ты ему нравишься.

– Это Джоссу-то Коэну! – гневно промолвила Марта.

– Но ведь он славный мальчик. И среди евреев бывают очень симпатичные, а он к тому же умный, как и ты.

– Ты мне просто противна, – заявила Марта; ей казалось, что она этим выразила свое отношение к расовым предрассудкам.

И снова на добродушном личике Марни отразились удивление и обида. Она бросила на Марту умоляющий взгляд и встала – ей хотелось поскорее удрать. Но в эту минуту Марта, скользнув по примятой длинной траве, согнула колени и рывком поднялась.

– Ой, всю кожу ободрала, – заметила она, потирая сквозь платье поясницу.

Ее манера потешаться над собственной неуклюжестью, можно даже сказать – паясничать, вызвала у Марни какое-то дотоле неведомое неприятное чувство. «Все-таки очень странно, что Марта в шестнадцать лет носит такие платья, держится точно неуклюжий школьник и, как видно, считает это в порядке вещей», – подумала Марни. Тем не менее, усмотрев в поведении Марты желание восстановить мир, Марни сочла примирение состоявшимся, взглянула на заглавие книги, которую Марта держала в руке, – это была история жизни Сесилия Родса, – и спросила, интересно ли. Затем девушки направились по узкой тропинке, вившейся под низенькими чахлыми деревьями среди пожелтевшей травы, которая доходила им до плеч, к просеке, где стоял дом.

Дом этот ничем не отличался от жилищ туземцев – стены у него были глиняные, крыша – тростниковая, и строился он в расчете на то, что жить в нем будут всего два сезона; дело в том, что Квесты переселились в колонию после того, как побывали на одной выставке в Лондоне, где им наговорили, что поселенцы могут разбогатеть на маисе чуть ли не через год после того, как его посадят. Этого не произошло, и они так и продолжали жить в своем временном жилище. Дом представлял собой вытянутый овал, разделенный перегородками на комнаты; вокруг шли крытые дерном веранды. Сбоку прилепилась квадратная кухонька с жестяной крышей. Сейчас эта кухонька покосилась, жечь на ней стала пятнистой и проржавела. Крыша дома тоже осела, а стены так часто латали свежей глиной, что они стали похожи на пеструю мозаику всех цветов – от густого красного до блекло-желтого и серо-зеленого. В округе было много самых разнообразных домов, но дом Квестов был единственный в своем роде, ибо задуман он был как кирпичное здание с прочной крышей, а выполнен из дерна, глины и прессованного навоза.

Подходя к дому, девушки увидели своих матерей, сидевших за стеной из золотистого вьюнка. У самой веранды, прежде чем завернуть за угол и подняться по ступенькам, Марта поспешно бросила:

– Ты иди, а я... – и вошла в дом, тогда как Марни, мысленно поблагодарив подругу за догадливость, присоединилась к женщинам.

Марта проскользнула в комнату, точно преступница, которую могли уличить те, кто сидел на веранде, ибо стоило им повернуть голову, как они увидели бы ее в окно. Сначала, когда дом только построили, никаких веранд не было. Миссис Квест решила, что дом должен быть повернут фасадом к вельду. «Точно корабль – носом вперед», – весело поясняла она. Вокруг всего дома шли окна, из которых открывалась широкая панорама гор и вельда, – узкие простенки как бы разрезали ее на отдельные кадры. Теперь же перед окнами была устроена веранда с навесом, и в комнате стало довольно темно. У одной стены стояло пианино, несколько стульев и два небольших диванчика, а у другой – обеденный стол. Много лет назад, когда ковры и ситцевые занавески были еще новые, комната эта, с ее кремовыми стенами и гладким черным линолеумом под ковром, выглядела даже красивой. Сейчас же она казалась не только вылинявшей, но грязной и захлавленной. К пианино никто не притрагивался. На буфете, где стоял серебряный чайный поднос, который подарили деду миссис Квест в день, когда он уходил из банка на пенсию, валялись какие-то камни, орехи, болты от плуга и склянки с лекарствами.

Когда миссис Квест только приехала, все над нею потешались по поводу ее пианино и дорогих ковров, ее платьев и того, что, заходя к соседям, она оставляла визитные карточки. Теперь она сама грустно посмеивалась над собой, вспоминая об этом.

Посреди комнаты торчал столб из очень твердого дерева – кратегуса, поддерживавший перекрытия потолка. Прежде чем поставить этот столб, его неделями вымачивали в крепком химическом растворе, чтобы предохранить от нашествия муравьев и всяких букашек; тем не менее он был теперь весь усеян крошечными дырочками, и, если приложить к нему ухо, можно было услышать, как трудятся мириады крошечных челюстей; из дырочек непрерывной струйкой сочилась тончайшая белая пыль. Марта стояла подле столба, выжидая, когда на веранде все отвернется и она будет в безопасности, и чувствовала, как он шатается у своего основания под полом. Вот и все так у ее родителей: столько лет твердили друг другу, что необходимо вовремя сменить столб, а теперь, когда насекомые незаметно подточили его, так что от малейшего стука он гудит, как барабан, они успокаивают себя, говоря: ничего, мол, страшного, ведь крыша, собственно, никогда и не опиралась на него. И в самом деле, если взглянуть вверх, то между гребнем крыши и тем, на чем, казалось бы, она должна держаться, был виден просвет в добрых два дюйма. Для тростниковой крыши было, видимо, вполне достаточно переплетения тонких перекладин, на которых она покоится. Весь дом был такой – шаткий и нелепый; он держался буквально «на честном слове», но вопреки всякому вероятию, как преданный друг, продолжал стоять. «В один прекрасный день он рухнет нам на голову», – ворчала миссис Квест всякий раз, когда муж, по обыкновению, заявлял, что им не осилить ремонта. Но дом не рушился.

Улучив удобный момент, Марта проскользнула в соседнюю комнату. Это была спальня ее родителей – большая квадратная и довольно темная комната, в ней было всего два окна. Мебель была сколочена из банок из-под бензина и парафина, выкрашенных и обтянутых кретоном. Занавески, в свое время купленные в Лондоне, выцвели и стали желтовато-серыми. На тонкой сеточке основы, свободно пропускавшей слепящий солнечный свет, выделялись темные контуры важных павлинов, краска которых оказалась прочнее всего остального. У одной стены стояли рядом две широкие железные кровати; у другой, против них, – туалетный столик. Привычка не сделала Марту слепой, и она отлично понимала, до чего у них дома все убого и запущенно. Ни у кого из членов семьи не было ощущения, что они на самом деле живут здесь. Дом строился как временное пристанище – таким он и остался. В будущем году они непременно вернуться в Англию или переедут в город. Ведь будет же когда-нибудь хороший

урожай, повезет и им, и они выиграют, нападут на золотую жилу. Годами мистер и миссис Квест толковали на эту тему; Марта теперь уже не прислушивалась к этим разговорам – они так ее раздражали, что она не могла их выносить. Уже в одиннадцать-двенадцать лет она понимала, что ее родители обманывают себя, понимала настолько ясно, что могла бы сказать: «Если бы они в самом деле хотели куда-то переехать, то давно бы это сделали». Но эта мысль, подсказанная трезвым рассудком и отчаянием, так никогда и не оформилась в мозгу Марты, и она, порицая родителей за их нелепые иллюзии, невольно разделяла их убеждение, что дом, где они живут, – это еще не их настоящий дом. Она знала, что Марни и другим соседям он кажется невероятно жалким и даже гадким; но стоит ли стыдиться того, что ты никогда – ни на минуту – не считал своим домом?

Итак, очутившись в спальне родителей и удостоверившись, что дверь плотно закрыта, Марта осторожно подошла к квадратному зеркальцу, висевшему на гвозде посередине оконной рамы, над туалетным столиком. Она даже не взглянула на столик – так противно ей было то, что стояло на нем. Многие годы миссис Квест называла женщин, употребляющих косметику, беспутными, а потом, убедившись, что все красятся, купила и себе губную помаду и лак для ногтей – да только неподходящего цвета, так как совсем не разбиралась в такого рода вещах. При этом от пудры ее пахло затхлой мукой, точно от лежалого кекса. Марта поспешно накрыла коробочку крышкой и сунула ее в ящик, чтобы не чувствовать запаха. Потом, приподнявшись на носки, стала разглядывать себя в зеркало – оно висело слишком высоко для нее, так как миссис Квест была женщина рослая. Марта не могла примириться с тем, как, по мнению матери, она должна выглядеть. Ночью она подолгу рассматривала себя в карманное зеркальце – прислонит его к подушке, ляжет рядом, чтобы видеть свое отражение, и нашептывает себе, точно возлюбленный своей подруге: «Красавица, какая же ты красавица!» Так она успокаивала себя, когда миссис Квест подшучивала над ее неуклюжестью или мистер Квест сетовал, что девушки в здешних краях слишком рано созревают.

У Марты было довольно широкое, но правильное лицо с заостренным подбородком, серьезные карие глаза, пухлые губы, прямые, как ниточка, черные брови. Иногда она приносила свое зеркальце в спальню к родителям и там, поставив его под углом к зеркалу, висевшему на окне, принималась разглядывать себя в профиль – при таком повороте ее широкое лицо казалось тоньше. Если вот так откинуть голову, распустить волосы, чтоб они светлой волной падали по плечам, и полураскрыть в нетерпеливом ожидании губы (Марта особенно тщательно трудилась над этим), то она по-своему даже

хорошенькая. Но одно дело – лицо и голова, а совсем другое – тело: Марта ведь могла видеть себя лишь по частям – зеркало было очень маленькое. Платья, которые ей шила мать, были уродливы и даже неприличны: она была уже вполне сформировавшейся девушкой с высокой грудью, хоть и стянутой материей, но не менее заметной от этого, и полными бедрами, выпиравшими под прямую юбкой. Мать говорила, что в Англии девушки начинают «выезжать» самое раннее в шестнадцать лет, чаще даже – в восемнадцать, а до тех пор, если они из хорошей семьи, носят только такие вот платья. То, что сама она никогда не «выезжала» и что семье ее было далеко до того уровня аристократичности, какой необходим для выезда в свет, не меняло дела: уж таковы условности, на которых зиждется общественная жизнь Англии. К тому же миссис Квест вполне разумно полагала, что, если бы она удачнее вышла замуж или если бы они успешнее повели хозяйство, можно было бы договориться с преуспевающей родней и устроить «выезд в свет» для Марты. Таким образом, сколько Марта ни попрекала мать за снобизм, та и ухом не вела: невозмутимо обдергивала на Марте детские платица, так что девушка съеживалась от раздражения, и несколько смущенно бормотала:

– О господи, ты стала совсем точно голубь-зобач!

Как-то раз миссис ван Ренсберг, присутствовавшая при такой сцене, мягко заметила:

– Но, миссис Квест, у Марты прелестная фигурка, почему вы хотите, чтоб она это скрывала?

Дело было, однако, вовсе не в фигуре Марты, а в социальных условностях; и если миссис ван Ренсберг могла сказать мужу, что миссис Квест делает все, чтобы превратить Марту в «дикарку», то сказать это самой миссис Квест она не могла.

В тот день долго сдерживаемое тайное возмущение прорвалось наконец наружу. Встав перед зеркалом, Марта взяла ножницы и отрезала лиф от юбки. Только было она принялась укладывать материю складками – такая юбка была у Марни, – как дверь отворилась и вошел ее отец. Он остановился и смущенно посмотрел на дочь, оголенную до пояса, в коротеньких розовых трусиках; но смущение это вызвало в нем двойное чувство: ведь если Марта еще ребенок, то можно смотреть на нее и когда она раздета. Он сказал раздраженно: «Что ты тут делаешь?» – и направился к длинному шкафу возле кровати; шкаф этот составляли семь ящиков из-под бензина, поставленных один на другой. Они

были окрашены в темно-зеленый цвет, а сверху прикрыты полинялой ситцевой занавеской. Шкаф был до отказа набит пузырьками с лекарствами, так что от малейшего прикосновения мог произойти обвал. Отец сказал ворчливо:

– Попробую-ка я эту новую штуку: что-то у меня желудок капризничает. – И принялся искать нужный ему пузырек. Он по очереди подносил их к окну и смотрел на свет. Тут взгляд его упал на Марту, и он заметил: – Мать не поблагодарит тебя за то, что ты кромсаешь платья, которые она тебе шьет.

– Но, папа, почему я должна носить платья для десятилетнего ребенка? – вызывающе спросила она.

– Да ты и есть еще ребенок, – возразил он с видом человека, оскорбленного в своих лучших чувствах. – И зачем только ты все время ссоришься с матерью?

Тут дверь опять с силой распахнулась, стукнув о стенку, и в комнату вошла миссис Квест.

– Почему ты убежала, Марта? – обратилась она к дочери. – Они как раз хотели рассказать тебе про Стефани. Это, право, невежливо с твоей стороны... – Она замолчала, уставившись на дочь, и наконец произнесла: – Ты что это делаешь?

– Больше я такие платья носить не намерена, – заявила Марта; она старалась говорить спокойно, однако тон у нее был, как всегда, обиженный и вызывающий.

– Но, дорогая моя, ты же испортила платье! А ты знаешь, как нам сейчас трудно, – сказала миссис Квест, с ужасом отметив про себя, насколько повзрослела дочь, какие у нее стали грудь и бока.

Миссис Квест взглянула на мужа, потом быстро подошла к дочери и положила руки ей на бедра, словно желая сдавить их и вернуть фигуре прежние детские очертания. Прикосновение матери заставило Марту отступить, и она невольно подняла руку: ее всю трясло от возмущения. Она готова была ударить мать по лицу, но сдержалась и, ошеломленная собственной яростью, опустила руку. А миссис Квест покраснела и только пробормотала:

– Дорогая моя!..

– Мне уже шестнадцать лет, – сдавленным голосом пробормотала Марта и посмотрела на отца, словно ища у него поддержки.

Но он поспешно отвернулся и стал капать лекарство в стакан.

– Дорогая моя, все хорошие девочки носят такие платья до...

– А я вовсе не хорошая девочка, – прервала ее Марта и вдруг расхохоталась.

Миссис Квест с облегчением присоединилась к ней:

– Право же, дорогая, ты преглупо ведешь себя. – И уже более дружелюбно добавила: – Вот испортила платье, а ведь это очень дурно: ты же знаешь, как папе трудно добывать деньги...

Она снова замолчала, перехватив взгляд Марты. А Марта смотрела на шкаф с лекарствами. Миссис Квест испугалась: вдруг Марта скажет, как говорила уже не раз, что в этом шкафу на сотни фунтов стерлингов лекарств и что на воображаемые болезни мистера Квеста истрачено куда больше, чем на образование дочери.

Это, конечно, было далеко не так. Но самое удивительное, что, когда Марта сказала это, миссис Квест не осадила дочь, а начала спорить с ней о стоимости лекарств:

– Какая ерунда, дорогая, ты прекрасно знаешь, что они не могут стоить сотни фунтов стерлингов.

Она не сказала: «Твой отец очень болен», хотя мистер Квест был в самом деле болен – года три или четыре назад у него началась сахарная болезнь. И в связи с этим произошел эпизод, о котором ни Марта, ни миссис Квест не любили вспоминать. Как-то раз Марту, которая училась тогда в городе, вызвали из класса. В коридоре ее ждала миссис Квест. «У нас папа заболел!» – воскликнула она и, прочтя на лице Марты: «Ну и что же? Разве в этом есть что-нибудь новое?» – поспешно добавила: «Нет, он действительно болен. У него диабет, его надо отправить немедленно в больницу на исследование». Наступило продолжительное молчание, и наконец Марта, точно в бреду, пробормотала: «Я

знала, что так будет». Не успели эти слова слететь с ее губ, как она виновато покраснела и поспешно бросилась к машине, где сидел отец. Обе женщины принялись ухаживать за ним, а мистер Квест, донельзя перепуганный, лишь выслушивал их успокоительные речи.

Всякий раз, когда Марта вспоминала эти свои слова, которые как будто только ждали подходящего случая, чтобы тотчас всплыть из недр ее сознания, ей становилось не по себе и она чувствовала себя очень виноватой. В глубине души она невольно думала: «Он хочет быть больным, ему нравится быть больным – теперь у него есть, по крайней мере, оправдание тому, что он ничего не достиг в жизни».

Больше того: в своих сокровенных мыслях она во всем винила мать.

Вся эта история с болезнью мистера Квеста породила столь неприязненные чувства между матерью и дочерью, что обе, как правило, старались не касаться щекотливой темы. Вот и теперь миссис Квест поспешно сказала, отходя от окна:

– Зачем ты расстраиваешь отца, он из-за тебя волнуется.

Голос у миссис Квест был низкий, тягучий.

– Ты хочешь сказать, что это ты волнуешься из-за меня, – холодно промолвила Марта, невольно переходя на шепот и бросая быстрый взгляд на отца. – Он даже не замечает, что мы здесь, – продолжала она. – Он целыми годами не видит нас...

Марта с удивлением заметила, что голос у нее дрожит и на глаза наворачиваются слезы. А мистер Квест поспешно вышел из комнаты, убеждая себя, что его жена и дочь вовсе не ссорятся. И как только он вышел, миссис Квест сказала своим обычным голосом:

– Одни только неприятности из-за тебя. А тебе и горя мало. Соришь деньгами, и...

Но Марта быстро пресекла эти излияния – выскочила из комнаты и убежала к себе. Дверь в ее комнату не запиралась и даже не прикрывалась как следует из-

за сильного перекося. Она была сколочена из досок туземцем плотником и за время дождей настолько покоробилась, что теперь скрипела и скребла пол, когда ее силой пытались втолкнуть в разбухшие, влажные от сырости косяки. Но хотя дверь не запиралась, она бывала иногда, так сказать, условно заперта, и сейчас был именно такой момент. Марта знала, что мать не войдет к ней. Она села на край постели и разрыдалась от злости.

Комната Марты была самой приятной в доме: большая, квадратная, свежесвыбеленная и не слишком заставленная мебелью. Стены упирались прямо в крышу, которая покато опускалась от центральной балки, мягко поблескивая тростником, принявшим с годами серовато-золотистый оттенок. В комнате было широкое и низкое окно, выходившее прямо на лесистый склон, за которым виднелось огромное красноватое поле, за ним – холм, поросший молодым ровным кустарником (он казался подстриженным, хотя его никогда не обрезали для топки, как большинство деревьев на ферме), а позади этого холма высилась гора Джейкобс-Бург. Вся панорама была сейчас освещена закатом. Солнце садилось; птицы пели гимн уходящему дню, а кузнечики уже возвещали приближение ночи. Марта почувствовала усталость и прилегла на свою низкую железную кровать – кочковатый матрас и подушки уже давно слежались, и от ее тела образовалась уютная вмятина. Марта смотрела мимо ставших оранжевыми занавесок на небо, расцвеченное невероятно яркими красками. Она думала о предстоящей длительной борьбе, знала, чего это будет ей стоить, и сомневалась, выдержит ли. Она говорила себе: «Не сдамся, не сдамся...» Хотя, если бы ее спросили, против чего же она собирается бороться, она не смогла бы ответить.

И все-таки битва за одежду началась. Она растянулась на несколько месяцев; дело дошло до того, что бедный мистер Квест со стоном выходил из комнаты всякий раз, как всплывала эта тема, а всплывала она постоянно, поскольку служила для обеих женщин как бы отдушиной в той молчаливой борьбе, которую они вели друг с другом и которая не имела ничего общего ни с одеждой, ни даже с «благовоспитанностью».

Мистер Квест считал себя человеком миролюбивым. Он был высокий, стройный, темноволосый, говорил и двигался медленно; при этом был красив – он и по сей день нравился женщинам, которые охотно отвечали на бессознательно зовущий и плотоядный взгляд его красивых темных глаз. В этом взгляде было что-то от повесы; в те минуты, когда мистер Квест слегка флиртовал с миссис ван Ренсберг, он оживлялся, между тем как миссис Квест становилось не по себе, а

Марта вдруг грустнела, видя своего отца таким, каким он, вероятно, был в дни своей молодости. Но обычно его красивое лицо казалось заурядным и даже маловыразительным – кроме тех случаев, когда мистер Квест бывал в ударе. Однако такие минуты выпадали очень редко, ибо если он и был повесой, то сам этого не подозревал.

Когда миссис Квест шутливо говорила, хотя в голосе ее и чувствовалось замешательство: «Бедняжка миссис ван Ренсберг так покраснелась сегодня – ты совсем вскружил ей голову», – мистер Квест раздраженно парировал: «Вскружил ей голову? Что ты хочешь этим сказать? Я разговаривал с ней только из приличия». И он действительно был убежден в этом.

Больше всего на свете он любил сидеть в своем шезлонге на веранде и следить за игрой света и тени на холмах, за бегом сходящихся и тающих облаков; по ночам любил смотреть на молнию и слушать раскаты грома. Он мог сидеть так часами и молчать, а потом вдруг заявлял: «Право, не знаю, но мне кажется, все это что-то означает» или: «Что ни говорите, а жизнь – странная штука». Нрав у него был тихий, хотя по-своему и веселый, но в таком состоянии духа он пребывал лишь до тех пор, пока его не трогали, что означало в эту пору его жизни – до тех пор, пока с ним не заговаривали. А тогда его охватывало бессильное раздражение; теперь обе женщины без конца обращались к нему за поддержкой, а он беспомощно отвечал им: «Ради бога, ну о чем вы спорите? Ведь спорить-то не о чем». Как-то раз жена подошла к нему тайком от дочери и заговорила так решительно, что заставила себя выслушать. Однако добилась она лишь того, что он в отчаянии воскликнул: «Ну, если девочке хочется быть смешной, пусть! Не трать ты времени на споры». А когда Марта, отчаявшись, взмолилась: «Поговори с ней, пожалуйста, скажи ей, что мне ведь уже не десять лет», – он закричал: «О господи, да оставь ты меня в покое! И вообще она права, ты еще совсем ребенок; погляди на Марни: стыдно смотреть, как она разгуливает по ферме в трусах и на высоченных каблучищах». Но это только приводило в ярость Марту, которая вовсе не собиралась подражать Марни. И все-таки женщины не оставляли мистера Квеста в покое: по нескольку раз на день прибегали они к нему, покрасневшие, злые, ссорясь и требуя его внимания. Они не давали ему спокойно подумать о войне, на которой он потерял здоровье, а быть может, и нечто более важное; они не давали ему спокойно помечтать о будущем, когда какое-то чудо внезапно перенесет их всех в город или в Англию; они приставали к нему, и он называл их про себя: «Эти окаянные торговки». Обе женщины чувствовали, что он махнул на них рукой, и возмущались, так что порой это возмущение даже объединяло их против него. Но таков уж удел всех миротворцев.

После пятнадцати лет Марте предстояло держать выпускные экзамены – нечего и говорить, что выдержать их она должна была блестяще. Но она даже не присутствовала на них, и не впервые в ее жизни все срывалось из-за чистой случайности – случайности, которую никто, а в особенности сама Марта, не мог бы назвать иначе, как ужасным невезением. Например, в одиннадцать лет ей тоже предстояло держать экзамены, очень важные для ее последующей жизни. Но за неделю до этого она вдруг слегла. По мнению всех, она была необычайно музыкальна, но какой-то рок неизменно мешал ей доказать свои способности и получить на экзаменах нужное количество баллов. Она трижды готовилась к участию, и в конце концов пришлось от него отказаться, потому что, как выяснилось, она за это время успела стать атеисткой. Вот и теперь ей предстояло держать чрезвычайно важные для нее экзамены. Многие месяцы миссис Квест только и говорила о том, как Марта поступит в университет и как она получит там стипендию, а Марта слушала мать – порой с вниманием, чаще же ежась от смущения. За неделю до роковой даты Марта подцепила конъюнктивит, который свирепствовал среди учащихся ее школы, – болезнь не такая уж серьезная, но у Марты, судя по всему, она отразилась на зрении.

Стоял октябрь, месяц жары и цветов, пыли и духоты. В октябре городок, где училась Марта, весь утопал в цветах, словно принарядившись к празднику. Каждую улицу окаймляли деревья в пунцовом уборе, над каждым тротуаром, в каждом саду простирали свои легкие лепестки джакаранды, а под ними, подобно дискантам, вплетались в общий хор красок розоватые и белые бугинеи; позади же, словно низкий звук трубы в оркестре, вдруг вздымались ослепительно-красные бугенвиллеи, ярким потоком переливаясь через каменные ограды. Повсюду живые краски и ослепительный свет – этот свет бомбардировал город, зной бил с белесых небес и рикошетом отскакивал от серого раскаленного асфальта, нависая над крышами дрожащей пеленой. Листва на деревьях – темно-зеленая, плотная, блестящая – была покрыта легким налетом пыли, точно вода в грязном водоеме. Проходишь мимо дерева, и кажется, что свет перескакивает с ветки на ветку, с листка на листок. Ужасный месяц октябрь! Ужасный своей красотой – красотой палящего зноя, пыли, духоты. Все только и смотрят на небо, на отягощенные листвой деревья вдоль улиц, на ряды свинцовых облаков, но проходят недели, а перемен никаких,

лишь ветер завихрит пыль на перекрестке и тут же в изнеможении спадет. Вспоминаешь запах цветов – и на память тотчас приходит запах пыли и бензина; вспоминаешь победоносный оркестр красок – и на память тотчас приходит гневное, добела раскаленное небо. Вспоминаешь... впоследствии Марта вспоминала, что в это время у нее отчаянно болели глаза, потом веки закрылись, и началось нагноение; она лежала в затемненной комнате и пыталась подшучивать над своим состоянием: она ужасно боялась совсем ослепнуть. Вернее, она боялась собственного страха, так как бояться слепоты было нечего – половина девочек в ее школе болела этой болезнью. Просто надо было выждать, пока глазам не станет лучше. Но Марта не могла лежать в постели и терпеливо дожидаться выздоровления; она так приставала к сиделке, что ей в конце концов разрешили перебраться на веранду, где девушка сидела в тени густой завесы из золотого вьюнка, отделявшей ее от улицы; и тут, глядя сквозь воспаленные веки на лившийся с неба свет, она убеждалась, что видит. Марта проводила на веранде целые дни, и волны зноя и дурманящих ароматов наплывали на нее, заставляя вздрагивать от какой-то щемящей тоски. Тоски о чем? Она сидела и, болезненно морщась, точно от ударов невидимого врага, вдыхала тяжелый, насыщенный разнообразными запахами воздух. А тут еще экзамен. Она все свои надежды обычно возлагала на усиленные занятия в течение последних двух недель, ибо принадлежала к тому типу людей, которые с фотографической точностью могут запомнить и удержать в памяти что угодно, но... не более месяца. А потом все, что Марта успевала выучить, исчезало, как будто она никогда и не знала этого. Таким образом, вздумай Марта держать экзамены, она, вероятно, выдержала бы их, но весьма посредственно.

Миссис Квест сообщили, что у ее дочери инфекционный конъюнктивит. Затем она получила письмо от Марты, весьма истерическое; затем еще одно, на этот раз краткое и ничего не говорящее. Миссис Квест отправилась в город и повезла дочь к окулисту, который осмотрел ее и сказал, что с глазами все в порядке. Миссис Квест разозлилась и повезла дочь к другому окулисту – такую же злость вызывали у нее врачи, не сразу соглашавшиеся с диагнозом, который она ставила своему мужу. Второй окулист был человек терпеливый, склонный к иронии и подтвердил все, что наговорила ему миссис Квест.

Самое любопытное, что миссис Квест, чья воля на протяжении многих лет была направлена на то, чтобы заставить Марту хоть чем-то выделиться, – эта самая миссис Квест легко примирилась с болезнью дочери и даже настаивала на том, что зрение у Марты ослабело, когда Марта пыталась уверить ее в обратном. Как только миссис Квест прибыла в город и взяла все в свои руки, Марту словно подхватила некая сила и понесла в совершенно непредвиденном направлении –

если вообще можно говорить о каком-либо предвидении применительно к чему-то необычайно путаному и противоречивому. В результате Марта вернулась на ферму – «чтобы дать отдых глазам», как объясняла соседям миссис Квест, почему-то гордившаяся тем, что так смущало Марту.

И вот Марта оказалась дома, «чтобы дать отдых глазам», но читала ничуть не меньше, чем всегда. Забавно было послушать, какие разговоры вызывало между матерью и дочерью столь неразумное поведение. Миссис Квест не говорила: «Ведь у тебя переутомлены глаза, зачем же ты читаешь?» – нет, она заявляла: «Ты это делаешь нарочно, чтобы расстроить меня!» Или: «Почему ты непременно должна читать такие книги?» Или: «Ты ставишь под угрозу все свое будущее и не желаешь считаться с моими советами». Марта хранила упорное насмешливое молчание и продолжала читать.

И вот в шестнадцать лет Марта ничем не занималась, безумно скучала и иногда втайне дивилась тому (впрочем, эта мысль приходила ей в голову лишь на миг и тут же исчезала), что она решила не сдавать экзаменов, которые ей было бы так легко выдержать. Ведь она была на голову выше своего класса и ей не пришлось бы даже особенно готовиться. Но поскольку разобраться в этом ей было трудно, она гнала эти мысли прочь. А все-таки – почему она обрекла себя на жизнь в этой глуши, откуда ей так не терпелось выбраться? Свидетельство об окончании школы было простейшим пропуском во внешний мир. А вот без него выбраться отсюда так трудно, что ее даже по ночам преследовали кошмары: ей снилось, будто она привязана за руки и за ноги к колесу паровоза, или будто по пояс увязла в зыбучих песках и никак не может оттуда вырваться, или взбирается по лестнице, которая движется вниз под ее ногами. У Марты было такое ощущение, точно ее кто-то околдовал.

Потом миссис Квест начала поговаривать о том, что вот Марни только что получила свидетельство об окончании школы, – и тон у нее был пренебрежительный, точно она хотела сказать: «Если уж Марни смогла выдержать экзамены, то почему же ты не можешь?»

Марте не хотелось встречаться с Марни, и избегать этих встреч ей было нетрудно, ибо ван Ренсберги и Квесты за последнее время стали все больше отходить друг от друга. Причиной была не только внезапная перемена в отношениях – так бывает порой между соседями, – а нечто более основательное. Мистер ван Ренсберг становился все более ярким националистом, и миссис ван Ренсберг, встречая миссис Квест на станции, смотрела на нее теперь каким-то

виноватым взглядом. Мало-помалу, в силу вполне естественной реакции, Квесты, говоря о ван Ренсбергах, стали называть их «эти проклятые африкандеры», хотя обе семьи дружили много лет, не думая о том, что они принадлежат к разным национальностям.

Марте не хотелось размышлять обо всем этом. Она была всецело занята собой и находилась в состоянии, близком к тяжелой депрессии. Впоследствии она вспоминала об этой поре как о худшем периоде своей жизни. Ей все время казалось, будто ее куда-то тащат, критикуют, расценивают, и это ее пугало. Она не понимала, почему поступает вопреки своей воле, своему разуму, вопреки всему, во что она верит. Ей казалось, что тело и мозг ее оцепенели.

Она была бессильна. Ее окружали поля их фермы, напоминавшие любимую страну, отказывавшую ей в правах гражданства. Она повторяла про себя знакомые с детства названия, точно магические формулы, потерявшие свою силу: Двадцать акров, Большая табачная земля, Поле на гребне, Сто акров, Клочок кафра, Заросли у изгороди, Участок под тыквой, – они казались ей сейчас просто обычными словами. Гуляя по Двадцати акрам, обсаженным с трех сторон рощицей из эвкалиптов (напоминавших об увлечении мистера Квеста лесонасаждениями), по этому клочку земли на склоне холма, розовому с желтым, усыпанному осколками кварца и белыми камешками, Марта с раздражением спрашивала себя: «Почему Двадцать акров? Ведь тут всего каких-нибудь двенадцать! Почему Сто акров, если их всего семьдесят шесть? Почему ее семейство так любит давать пышные названия самым обычным, даже захудалым вещам?» Дело в том, что сейчас в ее глазах все как-то измельчало, съежилось, словно село после стирки. Дом тоже представал перед ней в каком-то неприглядном виде. Он казался ей не только жалким, но просто отвратительным. Все разрушалось, подгнивало, провисало.

А еще хуже, гораздо хуже было то, что Марта наблюдала за своим отцом с чувством, близким к ужасу, ибо он начинал казаться ей человеком, погруженным в роковую летаргию. У него был такой вид, точно он наполовину спит или грезит. Правда, он уже не молод, говорила она себе, но еще и не стар: он как раз достиг того среднего возраста, когда люди довольно долго не меняются. Однако это отсутствие изменений было вызвано не тем, что какие-то силы в нем противились разрушению, а чем-то совсем иным. Чем же? Он поздно вставал по утрам, с мечтательным видом сидел за завтраком, а затем отправлялся в спальню, чтобы напичкать себя лекарствами от действительной болезни и от множества воображаемых; он рано возвращался с полей домой ко второму

завтраку, после него спал – и с каждым днем все дольше, – а потом неподвижно сидел в раскладном стуле, дожидаясь заката. После этого – ужин, очень легкий, чтобы не повредить здоровью, и затем – поскорее в постель. Спать, спать – дом был пропитан сном; и шепот миссис Квест походил на заклинания ведьмы: «Ты, должно быть, устала, дорогая. Не переутомляйся, дорогой». Девушке чудилось, что ею овладевает кошмар, точно она стала такой же, как ее отец, и в самом деле она чувствовала утомление и ей с большим трудом удавалось стряхнуть с себя эту одурь.

– Я не желаю быть усталой, – сердито бросала она матери, – нечего принуждать меня быть усталой.

Нелепые слова, но еще нелепее, что миссис Квест даже и не пыталась возражать. Лицо ее принимало терпеливое и скорбное выражение – лицо Вечной матери, держащей в своих руках этих близнецов – сон и смерть, сладкий и смертельный яд забвения. Такой представляла себе свою мать Марта – похожей на видение кошмара, который не выпускал ее из своих когтей.

Но порой препирательства между матерью и дочерью принимали более осмысленный характер.

– Ты ужасно несправедлива к отцу, – жалобно упрекала ее миссис Квест. – Он ведь болен, очень болен.

– Я знаю, что он болен, – с несчастным видом говорила Марта, чувствуя себя преступницей. Но тут же она заставляла себя добавить: – А посмотри на мистера Блэнка. Он ведь тоже болен, как и папа, но он... он совсем другой.

У мистера Блэнка, жившего в той же местности, была та же болезнь, что и у мистера Квеста, и даже в гораздо более серьезной форме; тем не менее он был подвижен и деятелен и вел себя так, точно необходимость глотать раз в день вытяжку из желез – такое же пустяковое дело, как чистить зубы или, скажем, есть на завтрак только фрукты. А вот мистер Квест всецело подчинил свою жизнь ритуалу болезни; он ни о чем другом не говорил – только про болезнь и про войну, про войну и про болезнь. Точно в его мозгу было проложено два параллельных канала. И когда мысли его отключались от одного предмета, они неизбежно переключались на другой, как автоматические стрелки на железной дороге.

Марте казалось даже, будто отец доволен тем, что ван Ренсберги больше у них не бывают, – ведь мистер ван Ренсберг всегда говорил о ферме, тогда как мистер Макдугал, занявший теперь его место, любил вспоминать об окопах.

Когда Марта молча, с насмешливой улыбкой проходила по веранде, она частенько видела отца, который сидел в уголке, как философ-созерцатель откинувшись на спинку раскладного кресла, и говорил: «Мы шли на разведку по ничейной земле. Нас было шестеро. Вдруг в воздух взвилась ракета, и при свете ее мы увидели, что находимся всего в каких-нибудь трех шагах от окопов, где засели боши. И вот...»

А на другом конце веранды миссис Квест беседовала с миссис Макдугал: «Это было как раз в ту пору, когда начали прибывать раненые из-под Галлиполи, и...»

Марта против воли прислушивалась к этой двойной литании страданий, ибо, с тех пор как она себя помнила, ее родители бормотали всегда одно и то же и их разговоры, казалось, составляли неотъемлемую часть ее плоти. Она со страхом следила за тем, какое действие оказывает на нее эта поэтизация страданий. Слова «ничейная земля», «снаряд», «боши» рождали в ней поэтические образы: ничейная земля – это черная, бесплодная пустыня, протянувшаяся между двумя армиями; разрывы снарядов вспыхивали среди мириадом цветных огней, совсем как фейерверк; боши были свирепыми великанами, в которых нет ничего человеческого, – видения из бредового сна; а слово «Галлиполи» звучало как название героического танца. Марта боялась власти этих слов, которые так сильно волновали ее и представлялись ей совсем не тем, что означали на самом деле.

В один из таких дней она стояла на ступеньках веранды, прислушиваясь к разговорам взрослых, как вдруг отец, обращаясь к ней, заметил: «Послушай, Мэтти, говорил я тебе когда-нибудь о...» – а она весьма нелюбезно, хотя и смущенно, ответила: «По-моему, тысячу раз». Он быстро поднял голову, посмотрел на нее, и на лице его появилось выражение растерянности и злобы.

– Тебе все это кажется шуточками, а мы вот пришли из окопов, и вдруг нам заявляют, что всякие разговоры о войне – табу, вот, оказывается, как.

– Но я ведь этого не говорила, – с несколько мрачным юмором заметила Марта и пошла прочь. А он крикнул ей вслед:

– Все вы пацифисты до поры до времени! Перед войной тоже были пацифисты, а когда она началась, все пошли драться. И ты пойдешь драться, помани мое слово!

Марта никогда не считала себя пацифисткой, но, видимо, она была ею. Во всяком случае, такой она представлялась своему отцу; для него она принадлежала к той категории людей, которые «в двадцатых годах отказывались восхвалять войну», хотя Марта в двадцатых годах еще только училась ходить и едва ли сейчас помнила ту пору. Однако она воссоздавала для себя атмосферу тех лет с помощью чтения, и потому самое слово «молодость», которое, по-видимому, было своего рода символом или талисманом для людей того десятилетия, порождало в ней смутное беспокойство и особое чувство недоверия к старшим.

Такие же чувства возникали у нее и когда мистер Квест принимался жаловаться на то, что международная еврейская банда прибрала к рукам весь мир (тема, которая не сходилась у него последнее время с языка, после того как он прочел один памфлет, присланный ему по почте). Марта спорила с ним, возражая очень резонно и логично, – такой молоденькой девушке трудно понять, что есть вещи, против которых разум бессилён. А когда миссис Квест уверяла, что все кафры – грязные, ленивые и от рождения глупые, Марта принималась защищать кафров. Когда же оба ее родителя стали утверждать, что Гитлер не джентльмен, а просто беспринципный выскочка, Марта принялась защищать Гитлера; это-то и заставило ее призадуматься: ей стало казаться, что кто-то насилует ее волю, – когда родители, повысив голос, спорили с ней и, раздражаясь, с обиженным видом доказывали, что скоро непременно начнется война с Германией и Россией (это в ту пору, когда все вокруг говорили, что новая война невозможна, потому что «кому же от нее польза?»), Марте представлялось, что эта новая война непременно разразится, чтобы покарать ее, Марту, так критически отзывавшуюся о прошлой войне.

Вскоре к ним на каникулы приехал из своей привилегированной школы младший брат Марты Джонатан Квест, точно гость из другого, богатого мира. И впервые Марта осознала свою неприязнь к нему. Почему, спрашивала она себя, именно его, который по уму ей и в подметки не годится, послали в «хорошую школу», почему именно ему предоставлены все привилегии? В таких рассуждениях была, конечно, известная непоследовательность – ведь Марта сама заявила матери, что «ни за какие блага в мире не пойдет в эту школу снобов, даже если у нее и поправится зрение». Теперь она заметила, что в мыслях появилась какая-то

неувязка. А приезд Джонатана лишь обострил это ощущение. Это был простой, добродушный юноша, внешне очень похожий на отца: он проводил каникулы, навещая соседей-фермеров, иногда ездил на станцию в гости к грекам по фамилии Сократы и заходил в лавчонку для кафров, которую держали Коэны. Он был со всеми в прекрасных отношениях, но Марте казалось нечестным, что ее братец, который ненавидит африкандеров (или, вернее, разделяет традиционное мнение англичан о них, что то же самое), проводит целые дни в доме у ван Ренсбергов, будто их родной сын, и забегает поболтать с братьями Коэн, точно это самое обычное дело. И вот однажды Марта с саркастической усмешкой спросила его:

– Как ты можешь говорить о том, что евреи погубят весь мир, и в то же время ходить в гости к Солли и Джоссу?

Джонатан смутился:

– Но мы же знаем друг друга с детства! – И, заметив явно иронический взгляд сестры, добавил: – А вот ты никогда не заходишь к ним.

– Это вовсе не потому, что я разделяю твои взгляды.

Ответ Марты озадачил Джонатана: он и сам не знал, каких взглядов придерживается, – он просто повторял то, что говорили родители и что он слышал в школе.

– Ну а как же ты при твоих взглядах можешь утверждать, что Гитлер – порядочный человек?

– Я никогда и не утверждала, что он порядочный. Я говорила только, что...

Марта запнулась и покраснела. Теперь уже он иронически смотрел на нее. Правда, она говорила, что, если Гитлер – «выскачка», это еще вовсе не значит, что он лишен всяких способностей, а в их доме такое заявление было равносильно защите Гитлера. И Марта принялась обстоятельно и последовательно доказывать свою правоту. Джонатан, отнюдь не желавший с ней спорить, только поддразнивал ее, напевая, точно ребенок:

Мэтти разозлилась, Мэтти разозлилась!

– Ты просто младенец, – проворчала Марта (так обычно заканчивались все их споры) и повернулась к нему спиной. Но если человек от чего-то отворачивается, то он неминуемо должен к чему-то повернуться – перед Мартой оказалась книжная полка, и она взяла с нее первую попавшуюся книгу. Это тоже стало для нее привычным жестом. Сколько раз она вот так хватала ближайшую книгу, как бы желая этим сказать: «Я знаю, что говорю».

Вдруг ей пришло в голову, что ведь она называет себя «большой любительницей чтения», совершенно так же, как и мать, и так же необоснованно. Ну что, собственно, она читает? Все снова и снова перечитывает одни и те же книги или бесцельно мечтает, сидя всегда на одном и том же месте – под большим деревом, где жара, пробиваясь сквозь листву, действует на нее как наркотик. Она читала много стихов – но не ради смысла, а ради мелодий, которые были бы созвучны ритму шелестящих трав и покачиванию листьев над ее головой или помогли бы ей увидеть свою мечту – белоснежный город, населенный благородными людьми, который, подобно золотому миражу, вставал перед нею над привычными просторами высохшей травы и оголенными деревьями.

Она обыскала весь дом в жажде новых книг. А книг у Квестов было множество. Да и в комнате самой Марты полки были набиты сказками, сохранившимися еще со времен ее детства, и томиками стихов. В гостиной стояли шкафы с книгами родителей. Там были классики – Диккенс, Вальтер Скотт, Теккерей – и произведения других писателей, доставшиеся миссис Квест в наследство от богатых викторианских предков. Все это Марта прочла еще много лет назад и теперь перечитывала, но чувство неутоленного голода не покидало ее. Можно, конечно, сравнить маленького чернокожего с Оливером Твистом – а дальше что? Кроме классиков, всюду валялись книги о «политике», вернее, о том, что ее родители разумели под этим словом, – «Мемуары» Ллойда Джорджа или описания Первой мировой войны. Но ни одна из этих книг не имела решительно никакого отношения ни к их ферме, ни к толпам туземцев, гнувших спину на их землях, – то есть ко всему тому, о чем пишут в газетах, ни даже к тому, о чем говорится в «Моей борьбе», чтение которой, собственно, и вывело Марту из душевного равновесия.

Но вот как-то раз, за рядами пропыленных книг, она обнаружила томик Герберта Уэллса и, взяв его в руки, отчетливо почувствовала смутный протест, нежелание читать эту книгу, да такое сильное, что чуть не сунула ее обратно, и потянулась

было, как всегда, за Шелли или Уитменом. Но внезапно смысл этого поступка дошел до сознания Марты, и она остановилась в замешательстве, спрашивая себя, что же это с ней. Ведь и раньше так бывало. Она снова посмотрела на книгу. Это была «Краткая история мира», и на титульном листе было надписано имя Джошуа Коэна. А с ним и с его братом Марта порвала дружбу, после того как Марни заявила ей однажды: «Ведь Джосс Коэн влюблен в тебя». Марте очень доставало Коэнов. И все же она не могла заставить себя встретиться с ними. Сначала это объяснялось тем облегчением, которое она почувствовала, избавившись от их меткой и беспощадной критики, от необходимости читать их книги, разбираться в собственных взглядах. А в последнее время это объяснялось смутным и неосознанным стыдом за всю эту историю с болезнью глаз. Итак, она забрала книгу и отправилась в свое убежище под деревом, где и прочла ее от корки до корки. А прочитав, удивилась, почему она может с такой легкостью читать самые туманные и сложные стихи и ей так трудно бывает справиться с самой обыкновенной книгой о «фактах», как она это называла. И она пришла к выводу, что надо возобновить дружбу с Коэнами, потому что никто другой не в состоянии ей помочь. Пусть братья посоветуют ей, что читать. Ведь есть два вида чтения: один – когда человек только расширяет свои познания, и другой – когда человек вбирает в себя новые факты, новые взгляды с тем, чтобы впоследствии применить их в жизни. Первый способ Марте уже надоел, ей не терпелось перейти ко второму. Все книги, которые она два года назад взяла у братьев Коэн, прочитаны, и уже давно, но воспринять до конца то, что в них написано, она еще не могла.

Только как же теперь ей быть? Ведь она очень дурно поступила по отношению к братьям Коэн. Она иногда видела их, когда приезжала на станцию; но избегать встреч с людьми, которых знаешь годами, нелегкое дело, и Марте помогло в этом весьма нехитрое рассуждение. «Ну, не заподозрят же они меня в этом», – говорила она себе, разумея под «этим» антисемитизм, и принужденно улыбалась им, как обычным знакомым. Они же кивали ей в ответ, но не подходили, полагая, что именно этого ей и хочется.

Поселок, где жили Коэны, насчитывал душ пятьдесят и возник вокруг лавчонки грека Сократа, известного среди фермеров под именем Сок. Кроме лавки, в поселке были гараж, принадлежавший одному валлийцу, фермерский клуб, станция железной дороги – длинный крытый жестью сарай на сваях, коттедж десятника и гостиница, тоже принадлежавшая Сократу, при которой находился бар – подлинный центр общественной жизни района. Все эти строения были разбросаны на нескольких акрах красной пыльной земли; вдоль железнодорожного полотна тянулась узкая полоска бурой воды, где плавали

утки – миссис Сократ приходила время от времени, чтобы извлечь одну из них и приготовить обед для постояльцев гостиницы, – а в зеленом иле по колена стояли волы, которых фермеры выпрягали на время погрузки фургонов; волы мирно пережевывали жвачку и лишь лениво поднимали глаза, когда над самыми их головами с грохотом проносился поезд. Мимо станции проходило два поезда в неделю; дальше полотно тянулось еще на двадцать миль в глубь страны и обрывалось у пологого подъема на гору, за которой расстилалась долина Замбези.

Зато оживленное движение было на шоссе, и перед баром весь день стояли запыленные машины.

Несколько лет тому назад Квесты два раза в неделю ездили на станцию, ибо миссис Квест была женщиной общительной. Но мистер Квест настолько не любил, чтобы его беспокоили, что они стали ездить теперь раз в месяц, да и то миссис Квест приходилось начинать наступление на мужа по крайней мере за неделю до поездки.

– Альфред! – говорила она небрежным и несколько вызывающим тоном. – Не забудь, мы завтра едем на станцию.

Он делал вид, что не слышит. Вернее, он поднимал на нее затуманенный взгляд, в котором сквозило раздражение, тотчас опускал глаза и весь как-то ссутуливался, точно хотел спрятаться от ее голоса.

– Послушай, дорогой, я же тебе говорила, что у нас нет муки и рабочим нужны новые фартуки, да и сахар почти весь вышел.

Он продолжал смотреть в пол, лицо его по-прежнему хранило упрямое выражение.

– Альфред! – кричала она.

– Ну что такое? – спрашивал он и поднимал на жену злой взгляд.

Испуганная этим гневным взглядом, который она, однако, сама же и вызвала и которому упрямо и мужественно противостояла многие годы, миссис Квест

решительно, но все же понизив голос, скороговоркой произносила:

- Нам необходимо ехать на станцию.

- Мы можем послать фургон, - поспешно предлагал он и вставал, чтобы избежать дальнейшего разговора.

- Да нет же, Альфред. Ты сам говоришь, что не можешь отсылать надолго фургон, и к тому же глупо гонять его за двумя мешками... - Мистер Квест к этому времени был уже у двери; тогда миссис Квест повышала голос и кричала ему вслед: - А кроме того, мне хочется посмотреть, нет ли там хорошей материи. Я же совсем обносилась.

Тогда он останавливался и снова бросал на жену гневный взгляд, виноватый и укоризненный, ибо она пускала в ход оружие, которого он больше всего боялся; ведь она как бы говорила: «Мог бы, кажется, хоть раз в месяц вывезти меня куда-нибудь! Заставил жить на этой ужасной ферме, да еще в такой нищете. До того дошли, что дети наши ничем не отличаются от детей каких-то ван Ренсбергов, и...»

- Ну ладно, ладно, будь по-твоему, - говорил он, снова садясь, брал газету и закрывался ею.

- Так, значит, завтра, - говорила она. - Мы отправимся сразу после завтрака. Марта поможет мне собраться.

Она не видела возмущенного лица мужа, но газета слегка вздрагивала в знак протеста; зато Марта смотрела на мать в упор и сердито спрашивала:

- А как, собственно, мы должны готовиться к получасовому путешествию?

- Ну... ты же знаешь... столько всего... - И миссис Квест смущенно умолкала.

- О господи, - раздраженно продолжала Марта, - послушать нас, так можно подумать, будто мы собираемся по крайней мере в Англию или еще куда-нибудь.

Эту шутку часто повторяли в их семье, и миссис Квест всякий раз пользовалась случаем, чтобы рассмеяться своим еще девически звонким и довольно приятным смехом, хотя никто, кроме нее, не смеялся.

– Ну, с такой семейкой, как у меня, да когда никто не хочет и пальцем шевельнуть...

Она не ворчала, она скорее просила: «Ну, пожалуйста, пожалуйста, ради бога, рассмейтесь!», обращаясь к недовольным, вечно спорящим мужу и дочери, которые ни за что не хотели хоть немного разрядить атмосферу. Но видя, что лицо Марты продолжает хранить мрачное выражение, а газета по-прежнему стоит между нею и мужем, миссис Квест только вздыхала.

На следующее утро за завтраком она говорила:

– Не забудьте, мы сегодня едем на станцию.

И тут уж мистер Квест смирялся:

– Мы в самом деле должны ехать?

– Да, должны. И потом ты ведь сам будешь доволен, когда мы туда приедем.

Вот это уже было ошибкой со стороны миссис Квест.

– Ничего подобного. Я ненавижу эти поездки. Да и бензина у нас нет.

– У нас есть целая канистра в кладовке, – твердо заявляла миссис Квест.

Возражения иссякали: мистер Квест громко вздыхал и мирился с неизбежной судьбой. Но уже направляясь к баракам, он словно оживал: завеса, отделявшая от него внешний мир, как бы приподнималась, и глаза его внимательно следили за тем, что делают руки. Марте всегда становилось тревожно и неловко, когда она видела, с каким трудом он принуждает свой отсутствующий взгляд сосредоточиться на чем-то, смотреть на окружающий мир, следить за своими руками, словно они нескладные существа, живущие независимой от него жизнью.

Гараж представлял собой две оштукатуренные стены из жердей под жестяной крышей, открытый с двух сторон. Мистер Квест медленно, задним ходом выводил машину, которая, подскакивая и подпрыгивая на кочках, доезжала до зарослей, а потом давал полный ход вперед и выводил ее на расчищенную площадку. Затем он вылезал из машины и, нахмурившись, глядел на нее. Это был очень старый «Форд». Краска с него слезла, занавесок на окнах не было – их где-то потеряли; одна дверца была привязана веревкой, а часть брезентового верха, прогнившего до дыр, покрыли сверху соломой. Мистер Квест купил машину за тридцать фунтов десять лет тому назад.

– Мотор совсем как новенький, – с гордостью бормотал он. И, подозревая Марту, пускался в разглагольствования: – В машине главное совсем не кузов. Только дураки способны бросать на ветер деньги за окраску и лак. Главное – мотор.

Мистер Квест любил, чтобы Марта была поблизости, когда он возился с машиной. Он даже посылал за ней в таких случаях прислугу. Марте тоже было наплевать, как выглядит машина, а вот то, что их драндулет ползет невероятно медленно, раздражало ее, и поэтому выражение ее лица становилось таким же отсутствующим и рассеянным, как у отца, который тем временем приносил воду в ведре, заливал ее в радиатор, отвязывал веревку от пришедшей в негодность ручки, а потом снова привязывал. И поскольку Марта никак не реагировала на его замечания, он начинал кидать на нее все более разгневанные взгляды.

– Все это очень хорошо, – говорил он, – по-твоему, хорошо, конечно...

Как правило, он так и не кончал фразы, ибо на лице Марты появлялась ироническая усмешка, и взгляды их встречались.

– Ох, папа! – ворчливо протестовала она. – Почему ты это говоришь? Я же не произнесла ни слова!

Тут она начинала потихоньку отходить все дальше и дальше от машины, с вождением поглядывая на дом. Было так жарко! Зной и яркий свет били ей прямо в глаза, отражаясь от старой потрепанной машины.

– Куда это ты направилась? – с обидой спрашивал он.

Она возвращалась и, усевшись на подножку, раскрывала книгу, которую захватила с собой. Мистер Квест сразу смягчился, и в голосе его даже появлялись веселые интонации, когда он, поглаживая теплую солому на крыше машины, говорил:

– всю жизнь любил соломенные крыши. На аккуратную соломенную крышу смотреть приятно. Помню, был у меня двоюродный брат Джордж – мастер был крыть соломой крышу! Конечно, у нас, на родине. Знарок своего дела, не то что эти окаянные черномазые, они бросают солому как попало. Когда поедешь в Англию, Мэтти, первое, что ты должна сделать, – это съездить в Колчестер и посмотреть, вышли ли дети Джорджа хоть наполовину в отца. Если да, то ты увидишь такие соломенные крыши, каких больше нигде в мире нет... Мэтти! – вдруг окликал он дочь, заметив, что она сидит, низко нагнув голову, всецело погруженная в чтение.

– Ну что? – спрашивала она в отчаянии, поднимая глаза от книги.

– Ты меня не слушаешь!

– Я слушаю.

– По-твоему – все хорошо... – долетал до нее ворчливый голос отца.

В тот день, провозившись с машиной около часа, мистер Квест вернулся домой в сопровождении Марты и потребовал чаю: он уже не пойдет сегодня на поля. А около двенадцати он начал волноваться, что завтрак запаздывает и они, видно, сегодня не выедут.

– Но, Альфред, – говорила несчастная миссис Квест, – сначала ты вовсе не хотел ехать, а теперь начинаешь волноваться за несколько часов...

– Вам хорошо говорить, а каково вести по этим дорогам машину двадцатилетней давности!

Марта даже зубами заскрипела от злости. С их холма видно было, как между деревьями, точно маленькие черные пчелки, мчатся машины других фермеров, оставляя позади облачко красной пыли. Все, ну положительно все доезжают до

станции за несколько минут.

После завтрака мистер Квест, которому уже не терпелось двинуться в путь, поспешил к машине и снова проверил радиатор. Оказалось, что он пуст; тогда мистер Квест потребовал полдюжины яиц и, разбив их одно за другим, вылил в нутро машины. Яйца, образуя клейкую массу, залепляли распаявшийся радиатор. Однажды кто-то из соседей предложил применить маисовую муку; мистер Квест тотчас испробовал это средство с осторожностью и энтузиазмом ученого-экспериментатора. «В этом что-то есть», – шептал он, всыпая пригоршнями белую муку в чрево машины. Но на полпути раздался взрыв, пробка радиатора стрельнула вверх, и по ветровому стеклу веером разлетелись брызги мучнистой каши, а машина, точно вдруг ослепнув, замедлила ход и уткнулась в большое дерево. «М-да... – в раздумье проговорил мистер Квест, – интересно... Пожалуй, если бы мука была более мелкого помола...»

В общем, яйца оказались более надежным средством, хотя и в этом случае нельзя было ехать быстро и приходилось часто останавливаться, чтобы дать мотору остыть, не то вода могла закипеть, сорвать яичную заклепку со дна радиатора, и тогда...

После завтрака мистер Квест властно позвал жену и дочь:

– Мэй! Мэтти! Поехали, я завожу мотор, надо отправляться.

И миссис Квест, улыбаясь и в то же время ворча, поспешила к машине, на ходу надевая шляпку, а Марта неторопливо следовала за ней – на лице девушки была написана усталая покорность.

Машину подкатили к краю площадки на гребне холма. Мистер Квест сидел, напряженно вглядываясь в даль, крепко вцепившись в рукоятку тормоза одной рукой, а другой обхватив руль.

– Поехали! – воскликнул он и отпустил тормоз. Однако ничего не последовало. – А, черт! – с отчаянием воскликнул он, словно утопающий, выпустивший из рук последнюю соломинку. – Давай, живо...

И они с миссис Квест начали раскачиваться на сиденьях – машина, дрожа и подпрыгивая, рывками заскользила по откосу, осторожно съехала по каменистой

дороге к подножию холма, где тянулась глубокая канава, скатилась в нее и замерла.

– Черт бы ее побрал, – снова изрек мистер Квест, еле сдерживаясь и огорченно взглянув на своих двух дам. Не очень рассчитывая на успех, он попытался включить мотор с помощью стартера. Результат оказался мгновенным и неожиданным. Машина, скрипя и скрежеща, взлетела на край канавы и покатила по дороге между полями маиса. Маис уже почти созрел – он стоял, тускло поблескивая, весь золотисто-серебряный, сухой, как бумага, и шелестел на ветру мириадами листьев. Внизу, там, где кончался этот участок, именуемый «Сто акров», пролегалo полотно старой железной дороги. Не доезжая до нее, мистер Квест остановил машину, вышел, снял с радиатора пробку и заглянул внутрь. Там что-то слегка булькало, и оттуда еле уловимо тянуло тухлятиной.

– Пока все в порядке, – с удовлетворением сказал он, и они двинулись дальше.

Вскоре они снова остановились.

– Три с половиной мили, – пробормотал мистер Квест. – Уровень бензина должен быть...

Он посмотрел на стрелку, показывающую количество горючего в баке. Ведь до станции было целых семь миль. Вернее, всего пять и три четверти. Но раз до Дамфризовых холмов семь (тогда как на самом деле было всего шесть) и до Джейкобс-Бурга – тоже семь (тогда как на самом деле – по крайней мере девять), то и до станции должно быть семь миль: ведь так приятно иметь дом, который находится в самом центре некоего магического круга – какие богатства, какая власть могут сравниться с этим? Но одно дело – семь миль в поэтическом представлении мистера Квеста, и совсем другое, когда приходится в соответствии с этим проверять положение стрелки, указывающей на уровень бензина. Поэтому мистер Квест нахмурился и сказал:

– Придется, пожалуй, заехать в гараж. Просто удивительно: если люди добились того, что мотор может работать в течение целой человеческой жизни, почему же все остальное так недолговечно?

Прибыв на станцию, миссис Квест устремилась в лавку Сократа, держа в руке список покупок, а мистер Квест поехал в гараж. Марта постояла на веранде,

выжидая, пока мать забудет о ее существовании, заговорившись с другими женщинами у прилавка, а потом быстро направилась к группе деревьев, за которыми виднелась лавка для кафров. Это было большое, несуразное здание из кирпича с простенькой верандой на столбах. Марта пробралась между толпившимися, по обыкновению, перед лавкой туземками с детьми на спине, откинула занавеску из пестрых бус, висевшую на двери, и вошла. Через все помещение тянулся длинный прилавок, уставленный банками с яркими разноцветными леденцами и заваленный рулонами бумажных тканей. Вдоль стен стояли мешки с мукой и сахаром, велосипеды, коробки с парафином, ящики с земляными орехами. Над прилавком висели, позвякивая, дешевые бусы, связки вяленого мяса, губные гармошки и стеклянные побрякушки. В лавке стоял запах пота, дешевых красок и пыли, и Марта с удовольствием вдохнула его.

Старик Коэн холодно кивнул ей и, вежливо осведомившись о здоровье ее родителей, задолжавших ему пятьдесят фунтов стерлингов, умолк в ожидании заказа.

– Скажите, Солли у себя? – спросила Марта каким-то уж слишком вежливым тоном.

Старик поднял брови и неторопливо ответил:

– Он дома – для всех, кто хочет его видеть.

– Мне бы очень хотелось его повидать, – сказала Марта, с трудом выдавливая из себя слова.

– Вы как будто знали раньше, как к нему пройти, – сухо заметил он и кивнул на откидную крышку прилавка, под которую Марта частенько ныряла, когда была маленькой. Марта рассчитывала, что он поднимет для нее эту крышку, но он лишь молча наблюдал, как она сама неловко пытается ее приподнять. Подождав немного, он не спеша все же поднял ее и отступил, пропуская девушку.

Неожиданно для самой себя она вдруг сказала:

– Вы ошибаетесь, я вовсе не хотела...

Он искоса метнул на нее быстрый взгляд и не без сарказма спросил:

– Чего не хотели?

И, тут же отвернувшись, принялся доставать из банки ядовито-зеленые лакомства для негритенка, покрытого таким слоем красной пыли, что его черная кожа казалась ржавой.

Марта вошла в заднюю комнату, где и обнаружила братьев Коэн, которые читали, сидя в двух больших креслах, – Марте эти кресла казались признаком дурного вкуса, как, впрочем, и вся обстановка комнаты, очень маленькой, заставленной полированной мебелью и яркими китайскими безделушками. Во всем чувствовалось что-то показное, нарочитое, точно это была не комната, а витрина мебельного магазина. И в этой некрасивой, безвкусно обставленной комнате сидели Солли и Джосс – два философа – и читали (как Марта не преминула заметить) Платона и Бальзака в дорогих изданиях. Они с изумлением посмотрели на Марту, затем друг на друга, и после долгой паузы Солли заметил:

– Ты только погляди, кто к нам пришел!

А Джосс сказал:

– Ну и ну!

И оба умолкли, ожидая с ироническим видом, чтобы она заговорила.

Марта сказала:

– Я принесла вам вашу книгу. – И протянула ее.

– Покорнейше благодарим, – отозвался Солли и взял книгу.

А Джосс сделал вид, будто продолжает читать; Марте это было неприятно: ведь если верить миссис ван Ренсберг, он в свое время питал к ней нечто большее, чем чувство дружбы. Вместе с тем ей стало легче от того, что он не смотрит на нее. И, обращаясь к Солли, она с известным кокетством спросила:

– Можно присесть? – И тут же села.

– Из нее скоро выйдет настоящая модница, а? – заметил Солли Джоссу, и оба откровенно, в упор стали разглядывать гостью.

После всех своих ссор с матерью Марта наконец добилась того, что теперь сама шила себе платья. Кроме того, она голодала, чтобы придать своей фигуре элегантную гибкость и стройность, а поскольку от природы она принадлежала к типу пухленьких девушек, то результаты диеты не слишком украшали ее. Не понравились они и братьям Коэн, продолжавшим разговор, как если бы Марты вовсе тут не было.

– Желтый цвет идет ей, правда, Солли?

– Да, Джосс. И этот занятный разрез на платье тоже здорово придуман.

– Но уж слишком она тоща, Солли, слишком тоща. А все оттого, что перестала есть жирную, нездоровую, по ее мнению, еврейскую пищу.

– Что ж, Джосс, лучше быть тощей и иметь чистую кровь, чем быть толстой, жирной и зачумленной...

– Да замолчите вы наконец, – смущенно сказала Марта; братья подняли брови, покачали головой и вздохнули. – Я знаю, вы думаете... – начала она, и опять оказалось, что ей очень трудно докончить свою мысль.

– Что мы думаем? – почти одновременно спросили они, и в их тоне прозвучал тот же сарказм, что и у их отца.

– Все совсем не так, – сказала она с запинкой, но стараясь, чтобы слова ее звучали как можно искреннее, и с мольбою посмотрела на братьев. На минуту ей показалось, что она прощена, – так мягко заговорил с нею Джосс.

– Бедняжка Мэтти! – начал он. – Значит, тебе твоя мамочка запретила встречаться с нами?

Ласковый тон, каким была произнесена эта фраза, обманул Марту, и смысл не сразу дошел до ее сознания, а когда дошел, на глазах у нее выступили слезы.

- Нет, вовсе нет, - ответила она.

- Тайна! - изрек Джосс, продолжая подтрунивать над Мартой и кивком предлагая Солли поддержать его.

И тот, вздохнув с напускным сокрушением, добавил:

- ...которую мы так и не узнаем - вот обида.

И вдруг Марта, сама не зная, как это у нее вырвалось, смущенно пролепетала:

- Это все миссис ван Ренсберг насплетничала...

Она посмотрела на Джосса, по смуглому лицу которого медленно разливалась краска, но он взглянул на нее с такою неприязнью, что она тут же умолкла.

- Оказывается, миссис ван Ренсберг насплетничала, - заметил Солли Джоссу.

- Да, - вставила Марта, не дав братьям продолжать. - По-видимому, это глупо, но я не могла... примириться с этим...

Последние слова она произнесла одним духом: эта встреча получилась совсем не такой, какой она ее себе представляла.

- Она не могла с этим примириться, - вздохнув, произнес Джосс и посмотрел на Солли.

- Не могла примириться, - вторя ему, с таким же вздохом проговорил Солли. И они с одинаковым движением взяли за книги и снова углубились в чтение. Марта продолжала сидеть на прежнем месте, с мольбою глядя на их опущенные лица, пытаясь сдержать краску смущения и все же чувствуя, что краснеет до корней волос. А когда, после довольно продолжительного молчания, Солли повторил небрежным тоном: - Она, видишь ли, не могла примириться с этим, а смотри-ка: сидит, не уходит, - Марта тотчас вскочила.

– Я же извинилась! – с негодованием воскликнула она. – И вы ошибаетесь. Да и вообще, почему вы оба такие обидчивые?

Она направилась к двери. Братья за ее спиной расхохотались – громко и насмешливо.

– На целых два года вычеркнула нас из своей жизни, а еще говорит, что мы обидчивые!

– Я вас не вычеркивала. И почему вы говорите обо мне так, точно меня здесь нет? – выпалила Марта и, споткнувшись, выскочила за дверь.

Пройдя мимо мистера Коэна, она увидела, что откидная крышка прилавка опущена, и молча остановилась, дожидаясь, чтобы мистер Коэн поднял ее; рыдания подступили к горлу, и она не могла говорить. Мистер Коэн посмотрел на нее, как ей показалось, с дружеской теплотой, но, подняв крышку, спокойно кивнул и сказал только:

– Всего хорошего, мисс Квест.

– Благодарю вас, – сказала она таким тоном, точно молила его о чем-то. Занавеска из бус качнулась и, прошелестев, повисла неподвижно за ее спиной, а Марта по пыльной тропинке зашагала в поселок.

Она шла по рельсам, ослепительно сверкавшим в знойных лучах солнца, направляясь в гараж, где мистер Квест вел увлекательный разговор с мистером Пэрри. Он все снова и снова настойчиво твердил:

– Войны не миновать. Все это хорошо для вас...

А мистер Пэрри вставлял: «Да, капитан Квест», «Нет, капитан Квест». В поселке все называли мистера Квеста «капитаном», хотя он протестовал, считая, что это несправедливо – ведь он кадровый военный. Марта разумно возражала ему: «Ты что же, хочешь сказать, что так можно называть только военных мирного времени? Значит, ты считаешь, что, если штатского призывают в армию и убивают на фронте, это совсем другое дело...» Ох, до чего же надоедлива эта рассудительная молодежь! И мистер Квест раздраженно пожимал плечами,

повторяя: «Мне неприятно, когда меня зовут капитаном. Это неправильно, ведь я уже давно ушел из армии». А Марта про себя думала: «Как странно: человеку, который только и бредит войной, не нравится быть капитаном». Но эта мысль – естественная и здравая – конечно, никогда не высказывалась во время их глубокомысленных споров.

Мистер Пэрри слушал мистера Квеста довольно рассеянно: взгляд его неотрывно следил за помощником-туземцем, катившим шину по горячей пыли. Наконец мистер Пэрри не выдержал и, бросив: «Извините, но...», ринулся вперед.

– Послушай, Гидеон, сколько раз я тебе говорил... – заорал он на туземца и, вырвав у него из рук шину, покатил ее к лохани с водой. Гидеон пожал плечами и направился в глубь гаража, где было попрохладнее, – там он сел на груды автопокрышек и принялся прутиком чертить что-то по пыли. – Послушай, Гидеон... – гаркнул на него Пэрри.

Но Гидеон только нахмурился и сделал вид, что не слышит. Мистер Пэрри был шотландец, речь его не утратила легкого акцента и приятности интонаций, однако в разговоре он проглатывал слоги, и «послушай» звучало у него скорее как «пслушай». А когда он говорил «как бы там ни было», то даже сам удивлялся, что у него получалось.

Мистер Квест, разочаровавшись в своем слушателе, подошел к машине, влез в нее и сказал:

– И слушать не хотят. А ведь я говорил ему, что русские стакнутся с немцами и нападут на нас. Уж я знаю, что нападут. Вскоре после войны – моей войны – я встретил в поезде человека, который рассказывал, что он собственными глазами видел, как русские силой увозили к себе немецких ученых и заставляли работать на своих заводах, чтобы научиться у них делать танки и этими танками потом разгромить Британскую империю. Вот я и говорил сейчас Пэрри...

Марта слушала эти слова, не вникая в их смысл, – она была поглощена своими собственными переживаниями. Мистер Квест взглянул на нее через плечо и саркастически заметил:

– Тебе, конечно, скучно слушать про то, о чем сейчас не принято говорить. Но в свое время и ты с этим столкнешься, а я тебе тогда напомню, что все это было

мной предсказано.

Марта отвернулась. В глазах ее стояли слезы. Ей казалось, что она всеми отвергнутое и самое несчастное существо на свете. Внезапно ей пришло на ум, что ведь и братья Коэн, должно быть, испытывали нечто подобное, когда она (во всяком случае, так это выглядело) отреклась от них; но она тотчас отбросила эту мысль. Такие натуры, как Марта, знают, что высокомерие у них напускное, оно объясняется чрезмерной застенчивостью, но лишь немногие из них понимают, что эта застенчивость питается опасной уверенностью в своей значительности, в том, что другие люди должны относиться к тебе с теплым чувством. Марта убеждала себя, что такие умные и независимые юноши, как братья Коэн, ни в какой мере не могут страдать от потери ее дружбы. «Но ведь мы дружили с детства», – говорил внутри ее некий голос, а другой голос холодно отвечал: «Друзей мы выбираем по собственному вкусу, а не потому, что нас вынуждают к тому обстоятельства». И все-таки Марта чуть не плакала от горя, унижения и сознания, что все ее покинули, – она сидела в духоте на заднем сиденье машины, зернышки солнечного света, танцую, проникали сквозь дырявую крышу и, точно иголками, больно кололи ей кожу. Впервые она подумала о том, что ведь Коэны живут здесь почти в полной изоляции. Фермеры здороваются с ними кивком головы, обмениваются замечаниями о погоде, но не предлагают своей дружбы. Семейство греков поддерживает сложную систему дружеских отношений с другими греками – владельцами лавок вдоль железной дороги. А у Коэнов есть родственники только в городе и ни души – поблизости.

Наконец мистер Пэрри обнаружил в шине место, откуда цепочкой выскакивали на поверхность грязной воды пузырьки, и крикнул Гидеону:

– А ну поди сюда, лентяй, черномазое чучело, и заделай мне это. Да чтоб слушаться у меня!

Гидеон лениво поднялся и пошел латать камеру. А мистер Пэрри вернулся к машине, решив продолжить разговор с мистером Квестом.

– Простите, капитан, но, если хочешь, чтоб работа была сделана как следует, надо делать ее самому, не иначе. Этим черномазым нельзя доверять ни на грош, нет у них чувства гордости за свой труд.

– Я уже говорил вам, что вы ведете себя точно страусы, которые зарывают голову в песок. Всякому ясно, что война на носу, и если не в этом году, то на будущий год она начнется обязательно – как только они соберутся с силами...

– Вы думаете, немчура опять на нас полезет? – вежливо осведомился мистер Пэрри, но в голосе его звучало сомнение; при этом он повернулся так, чтобы все время видеть Гидеона.

В эту минуту на железнодорожной колее показался другой чернокожий, вприпрыжку мчавшийся к гаражу. Добежав до машины, он остановился.

– Баас Квест? – спросил он.

Мистер Квест, которого опять прервали на самом интересном месте, раздраженно посмотрел на него своими темными глазами. Но Марта, узнав чернокожего – это был повар Коэнов, – протянула руку к пакету, который он держал.

– Это мне, – сказала она и попросила повара подождать. Он тотчас направился к Гидеону, чтобы помочь ему чинить шину.

В пакете оказалась книга от Джосса, озаглавленная «Социальный аспект еврейского вопроса», а в ней записка: «Дорогая Мэтти Квест, эта книга очень полезна для твоей души, поэтому прочти ее, непременно прочти. Твой обидчивый Джосс».

Марта страшно обрадовалась. Это было прощение. Она еще раз прервала отца, попросила у него карандаш и написала: «Спасибо за книгу. Дело в том, что я брала ее у тебя года три назад и, конечно, согласна со всем, что в ней написано. Но я прочту ее снова и верну, когда мы в следующий раз приедем на станцию». Марта решила, что это произойдет очень скоро.

Как только наступил день, когда на станцию прибывала почта, Марта предложила поехать туда, но отец с видом человека, которого все эксплуатируют, наотрез отказался.

– Что это тебе захотелось на станцию? – любопытствовала миссис Квест.

– Я хочу повидать братьев Коэн, – сказала Марта.

– Разве ты дружишь с ними? – недовольным тоном спросила миссис Квест.

– По-моему, мы всегда были друзьями, – презрительно ответила Марта. А поскольку дальнейший разговор мог вестись лишь в том плане, что, мол, они, Квесты, конечно, не считают евреев и даже торговцев ниже себя и что не встречаются они с этим семейством чисто случайно, миссис Квест нелегко было найти подходящий ответ.

Марта позвонила Макдугалам, чтобы узнать, не поедут ли они на станцию. Нет, они не собираются. Она спросила ван Ренсбергов. Марни, замаявшись, ответила, что папа теперь редко туда ездит. В конце концов Марта позвонила старику шотландцу мистеру Макферлайну, владельцу небольших разработок на Дамфризовых холмах, и он сказал, что да, он поедет завтра в город. Марта заявила матери, что поедет с ним, а обратно ее кто-нибудь подвезет (ибо мистер Макферлайн ехал действительно в город, а не на станцию, которую местные жители порой обозначали словом «город»).

– Ну, а если меня никто не подвезет, я дойду и пешком, – добавила она, подчеркнуто вызывающим тоном, который так раздражал ее мать.

Это, конечно, было нелепостью, нарушением одного из табу: «Белая девушка шла одна, и вдруг...» – и сказано было в расчете на то, чтобы вызвать спор. Он тут же и разгорелся; исчерпав все доводы, обе женщины воззвали к мистеру Квесту.

– Ну а почему бы ей и не пройтись пешком? – неуверенно заметил мистер Квест. – В молодости – когда я еще жил в Англии – я делал по тридцать миль в день и не видел в этом ничего особенного.

– Но это же не Англия, – дрожащим голосом возразила миссис Квест. Перед ее мысленным взором уже вставали страшные видения того, что может произойти с Мартой, если она встретит чернокожего, замыслившего недоброе.

– Да ведь я же хожу по полям нашей фермы, сколько миль иной раз отмахую, и почему-то никто против этого не возражает, – заладила свое Марта. – Как можно быть такой непоследовательной?

– Ну в общем, мне это не нравится. И ты же обещала не отходить от дома дальше чем на полмили.

Рассмеявшись злым смехом, Марта решила, что сейчас самая подходящая минута и надо выложить все, что она до сих пор тщательно скрывала.

– Но ведь я частенько бываю на Дамфризовых холмах и даже на Джейкобе-Бурге. Я уже не первый год совершаю такие прогулки.

– О господи, – беспомощно вздохнула миссис Квест. Она прекрасно знала, что Марта там бывает, но одно дело – знать, а совсем другое – услышать это из уст собственной дочери, да еще в такой момент. – А что будет, если на тебя нападет туземец?

– Я закричу, позову на помощь, – не задумываясь заявила Марта.

– О господи...

– Да не будь ты смешной, мама, – разозлившись, сказала Марта. – Если бы чернокожий изнасиловал меня, его бы повесили, а я стала бы национальной героиней. Так зачем ему это нужно? Никогда он этого не сделает, если бы даже и хотел.

– Но, дорогая, почитай газеты. Белых девушек то и дело на... на них нападают.

Но Марта не могла припомнить ни одного такого случая: это все одни пустые разговоры.

– Да, вот на прошлой неделе какой-то белый изнасиловал негритянку, и его оштрафовали на пять фунтов, – заметила она.

– Не об этом сейчас речь, – перебила ее миссис Квест. – Речь о том, что девушек насилуют.

– В таком случае они, видно, хотят, чтоб их насильовали, – мрачно сказала Марта и затаила дыхание: не потому, что усомнилась в собственной правоте, а потому,

что увидела, какие лица стали у ее родителей, и испугалась; впервые они объединились и с искренним волнением начали выговаривать ей, описывая последствия, к которым может привести такое ее поведение. И закончили они свое нравоучение так:

– Того и гляди, туземцы сбросят нас в море, и тогда вся страна придет в запустение. Ведь эти несчастные черные неучи не могут обойтись без нас! – За этим следовал, как всегда, совсем уж нелогичный вывод: – И никакой благодарности за все, что мы для них делаем.

Эти слова произносились столь часто, что казались обеим сторонам заплесневелыми и фальшивыми. Марта молчала, так что родители – успокоения ради – могли принять ее молчание за согласие.

На следующее утро девушка спозаранку уже поджидала мистера Макферлайна у километрового столба, в высокой придорожной траве; до станции они добрались чуть не за десять минут.

Мистер Макферлайн был старик любезный, но себе на уме; он жил в полном одиночестве на своем руднике, который разрабатывал с ничтожнейшей затратой средств, однако с довольно большой затратой человеческих жизней. На его руднике то и дело происходили несчастные случаи. А в деревушке, прилегающей к руднику и населенной одними туземцами, было полным-полно детей-полукровок – его детей. Он был очень богат и весьма популярен. Он щедро жертвовал на благотворительные нужды и намеревался выставить свою кандидатуру в парламент от одного из городских округов. В связи с этим ему приходилось немало хлопотать, и он частенько ездил в город.

Машина стремительно неслась между деревьями, а он тем временем пустился в разведку: сжал колено Марты и хотел было погладить ей ногу повыше, но Марта одернула юбку и спокойно отодвинулась в угол машины, словно ничего не заметив. Тогда мистер Макферлайн убрал руку и на каждом повороте стал доказывать Марте, что, если бы не его хладнокровие, они непременно разбились бы насмерть. На последнем, особенно крутом повороте он даже содрал краску с заднего крыла, а когда они остановились перед лавкой Сократа, вокруг них вихрилось облако пыли. Сердце Марты неистово колотилось по многим причинам. Никто до сих пор не пытался гладить ее по колену. А кроме того, она была напугана сумасшедшей ездой. Вид у нее был смущенный, встревоженный, и старый шотландец решил отнестись к ней как к маленькой девочке, которую

он знает много лет. Он достал пухлый бумажник и, вынув из него ассигнацию в десять шиллингов, протянул ей.

- Это тебе на гостинцы - когда поедешь опять в школу, - грубовато-добродушным тоном сказал он.

Марта хотела вернуть ему бумажку, но у нее не хватило на это смелости: отчасти потому, что десять шиллингов были для нее огромной суммой, отчасти из какого-то подсознательного чувства, которое она могла бы описать так: «Если я откажусь от его денег, он подумает, что я это сделала из-за того, что он погладил меня».

Она вежливо поблагодарила мистера Макферлайна за то, что он подвез ее; машина с ревом проскочила железнодорожное полотно и помчалась по дороге в город, а до Марты донеслись слова песенки, которую распевал мистер Макферлайн: «Ах, милашка...»

Марта держала под мышкой книгу по еврейскому вопросу (которую она не перечитывала, считая, что к сложившемуся у нее на этот счет разумному мнению прибавлять уже нечего).

Она направилась в лавку для кафров. Мистер Коэн поздоровался с ней и поднял крышку прилавка. Он был низенький, приземистый. Его черные вьющиеся волосы были так коротко острижены, что производили впечатление надетой на голову шапочки; кожа была бледная, нездорового цвета. Марта подумала, что он похож на жабу или на что-то такое, что живет взаперти и никогда не видит солнца; он и в самом деле редко отходил от своего прилавка. Но он отнюдь не казался просто торгашом или мелким лавочником - у него было чувство собственного достоинства и какая-то целеустремленность, объяснявшиеся не только его принадлежностью к расе с древней культурой, но и тем, что этот нищий эмигрант из Центральной Европы обрек себя на изгнание, на жизнь в захолустье ради своих необычайно одаренных сыновей. Глаза у него были черные, мудрые и пронизательные. Он не мог не нравиться. Однако Марта находила его отталкивающим - стыдно, но ничего не поделаешь; грека Сократа она тоже считала отталкивающим за его жирную кожу и невероятную толщину, но стыдно ей не было. Ох уж эта проблема антисемитизма! Она действовала ей на нервы и заставляла быть вечно настороже - вот поэтому-то Марта всегда так принужденно и держалась с мистером Коэном.

В задней комнате Марта обнаружила Солли – он был один – и в душе порадовалась, что на этот раз не подвергнется объединенным нападкам обоих братьев. К тому же в их сплоченности было что-то натянутое и фальшивое, ибо между братьями существовал сильнейший антагонизм – разница в темпераменте приводила к разнице в политических воззрениях: Солли был сионистом, а Джосс – социалистом. Солли был высокий, худощавый юноша с большой головой на длинной тонкой шее и крупными костлявыми кистями длинных рук – он казался каким-то угловатым и несобранным; его огромные черные глаза смотрели на мир с таким рассеянным и мрачным видом, что Марта чувствовала в нем что-то хорошо знакомое – правда, не совсем приятное, ибо Солли во многом напоминал Марте ее отца. А если она намерена бороться со склонностью к меланхолии, унаследованной от отца, то как же она может чистосердечно преклоняться перед Солли, хотя бы ей того и хотелось? В общем, ей было легче с Джоссом – приземистым, крепким, ладно скроенным юношей с веселым огоньком в честных глазах и насмешливо-практическим подходом к действительности; всем своим обликом он как бы говорил: «Ну зачем поднимать шум, когда все так просто!»

Солли взял книгу из рук Марты без малейших признаков той неприязни, с какой он отнесся к девушке в их прошлую встречу. Не успела Марта сесть, как в комнату вошла миссис Коэн с подносом в руках. Старшие Коэны строго блюли еврейские традиции, но сыновья не придерживались их. Многие годы миссис Коэн тщательно следила за тем, чтобы разные кушанья ели с разных тарелок, разными вилками и ножами, и сама мыла посуду, запрещая туземным слугам даже дотрагиваться до нее, а Джосс и Солли, углубившись за обедом в яростный спор, неизменно хватали не тот нож или вилку или, не глядя на тарелки, громоздили их друг на друга, так что миссис Коэн то и дело приходилось бранить и останавливать своих мальчиков. И она говорила с горестным смирением: «Я слишком стара, чтобы переучиваться».

Она по-прежнему мыла посуду и следила за тем, чтобы на тарелках из-под мяса не ели рыбу, но уже молчала, когда сыновья не соблюдали всех правил. Марта не видела в этом никакого смысла: если бы ее родители вздумали придерживаться таких нелепостей, с каким раздражением она препиралась бы с ними! Однако в миссис Коэн это казалось ей даже привлекательным. При одном виде этой пожилой толстухи еврейки с красивыми темными грустными глазами Марте становилось тепло на душе. И когда та спросила: «Вы, конечно, останетесь покушать с нами?» – она тотчас с восторгом согласилась. И через несколько минут они уже беседовали так, точно и не было этих двух лет, когда она к ним не заходила.

Солли должен был вскоре уехать в Кейптаун, чтобы там изучать медицину, и миссис Коэн уговаривала его остановиться у ее двоюродной сестры. Но Солли хотел быть независимым, хотел по-своему строить свою жизнь; а поскольку этого основного вопроса никто не затрагивал, то бесконечные споры велись вокруг автобусов, поездов и связанных с ними неудобств. Это напомнило Марте ее родной дом, где происходили такие же никому не нужные стычки из-за всякой ерунды. Вошел Джосс, как-то двусмысленно посмотрел на Марту и не сказал ни слова; а Марта разговорилась вовсю: голос у нее так и звенел.

Джосс решил изучать право. Но пока он был намерен остаться дома с родителями – в ожидании, когда они переедут в город. А они собирались это сделать после того, как продадут лавку. Такое отношение к отцу и матери представлялось Марте своего рода предательством в пользу старшего поколения. Ей казалось странным, даже просто непонятным, что он принимает сторону родителей в их споре с Солли, стремившимся к самостоятельности. Он рассуждал скорее как дядюшка, а не как брат.

Они сели за стол, и миссис Коэн спросила:

– Когда же вы думаете снова взяться за учение, Мэтти? Маму это, должно быть, очень тревожит!

– У меня еще глаза не поправились, – с запинкой ответила Марта, уставившись в тарелку. Когда же она подняла голову, то встретила скептический взгляд Джосса, которого так боялась.

– А что, собственно, с ними? – напрямик спросил он.

Она смущенно повела плечами, точно хотела сказать: «Оставь меня в покое». Но в этом семействе все подвергалось обсуждению, и Джосс сказал Солли:

– У нее переутомление глаз, представь себе!..

Солли на этот раз решил не вступать в союз против нее.

– А тебе-то что? – спросил он.

Джосс поднял брови:

– Мне? Ничего. Просто она была такой умницей. Жаль.

– Да оставьте вы ее в покое, – неожиданно вмешался мистер Коэн. – Она кого хочешь за пояс заткнет.

Марта была ему горячо благодарна за эти слова, но, не умея, как всегда, выразить свои чувства, она лишь опустила глаза, отчего лицо у нее сразу стало грустным.

– Конечно заткнет, – небрежно проронил Джосс, но в тоне его была какая-то особая нотка. Марта быстро вскинула на него глаза и тотчас поняла, что он имеет в виду прежде всего ее внешность; это отчасти обидело ее, а отчасти было ей приятно. Со времени ее превращения в довольно удачную подделку под красотку из модного журнала братья Коэн были первыми мужчинами, на которых она испробовала свои чары. Но она никогда не создалась бы даже себе, что тщательно наложенный грим и новое платье из зеленого полотна предназначались для того, чтобы произвести на них впечатление, а потому ей казалось бестактностью какое-либо упоминание о ее внешности или даже одобрителный взгляд – словом, Марта пребывала в таком смятении чувств, что не могла вымолвить ни слова и лишь молчала с довольно мрачным видом. После обеда мистер Коэн отправился обратно в лавку, а миссис Коэн к себе на кухню с грудой посуды, которой ее сыновья по-прежнему пользовались не так, как полагалось, и трое молодых людей остались одни. Разговор не вязался, и вскоре Марта поняла, что пора уходить. Но она медлила; под конец Солли вышел, и они с Джоссом тотчас почувствовали себя непринужденно – точно так же Марта чувствовала себя, когда оставалась вдвоем с Солли; и лишь когда они бывали втроем, от них словно начинали исходить противодействующие токи.

Джосс тотчас спросил:

– Что это за история? Почему ты раздумала идти в университет? – Этот прямой вопрос, который Марта никогда не задавала себе, остался без ответа; но Джосс настаивал: – Ты же не можешь торчать в этом захолустье и ничего не делать!

Она вызывающе ответила:

- Но ведь ты тоже не уезжаешь.

Его взгляд сказал ей, что это разные вещи, и, стараясь, чтобы в словах его не чувствовалось горечи, он пояснил:

- У моих родителей совсем нет друзей в деревне. Все будет иначе, когда они переедут в город.

Она снова промолчала, словно извиняясь за себя и за своих родителей. Потом встала и подошла к книжному шкафу - посмотреть, что там есть нового; стоявшие в нем книги отражали вкусы семьи: еврейские классики, труды о Палестине, о Польше и России; этими фолиантами питались два потока, стремительно расходившиеся в разные стороны, - Солли и Джосс. А новые книги, должно быть, хранятся в их общей спальне. Но в эту комнату ей заказан вход, поскольку теперь она стала для них мисс Квест. И во взгляде, который Марта устремила на Джосса, было смущение. Он следил за ней глазами и, перехватив ее взгляд, взял со стоявшего рядом стола большую стопку книг и протянул ей. И снова она почувствовала прилив радости: ведь он приготовил эти книги для нее. Он заметил спокойно:

- Возьми - это полезно для души.

Она просмотрела заглавия и возмутилась, как возмутился бы ребенок, если бы учитель заставил его изучать предметы, которые он усвоил год назад.

- В чем дело? - насмешливо спросил он. - Не нравятся?

- Но все это мне давно уже известно, - ответила она. И тотчас пожалела о сказанном: ее слова ведь можно было принять за хвастовство. А хотелось ей сказать вот что: «Я согласна со всем, что говорится в этих книгах».

Джосс окинул ее внимательным взглядом, сделал недоверчивую гримасу и вдруг, с тем небрежным безразличием, с каким просвещенный человек обратился бы к первобытному дикарю, спросил:

- Ты отрицаешь сегрегацию?

- Ну конечно.

- Конечно, - иронически повторил он. И снова спросил: - Тебе претят расовые предрассудки в любой их форме, включая и антисемитизм?

- Несомненно.

Это было произнесено уже с ноткой нетерпения.

- Ты атеистка?

- Ты прекрасно знаешь, что да.

- Ты веришь в социализм?

- Безусловно, - с жаром сказала она. И вдруг рассмеялась: в этой ее способности хохотать по поводу всякой нелепости, вероятно, и состояла главная особенность, отличавшая Марту от истинно серьезных людей; а Джосс нахмурился, очевидно не находя ничего смешного в том, что двадцатилетний еврейский юноша, выросший в патриархальной еврейской семье, и английская девушка, выросшая в семье с еще более закоснелыми - если это только возможно - предрассудками, беседуют о таких простых истинах в задней комнате туземной лавчонки, в деревне, населенной людьми, для которых каждое слово этой беседы звучало бы как опасная ересь.

- Ты словно спрашиваешь у меня урок по катехизису, - заметила Марта, все еще продолжая смеяться.

Он снова нахмурился, а она возмутилась: почему, собственно, его удивляет, что она думает так же, как и он?

- Ну, так что же ты собираешься делать? - деловито спросил он ее. В голосе его появились суровые нотки; Марта почувствовала себя глупой и виноватой: она поняла, что обидела его своим смехом.

- Право, не знаю, - жалобно отозвалась она.

И молча подняла на него глаза. А на лице его появилось такое выражение, что ей сразу все стало ясно: он находит ее прелестной в этом зеленом полотняном платье, подчеркивающим каждую линию ее молодого тела.

– По-моему, ты девушка что надо, – медленно произнес он, одобрительно оглядев ее. Но она обиделась – к чему эта похвала? Ведь они говорили о высоких материях! Почему же тогда эти нотки в его голосе? И она посмотрела на него так же сурово, как он только что смотрел на нее.

– Все это хорошо для тебя, ты мужчина, – сказала она с горечью и без всякого кокетства.

– Это будет хорошо и для тебя! – не без скрытого намека, весело и даже дерзко заметил он и рассмеялся, надеясь, что она будет вторить ему.

Но Марта лишь бросила на него обиженный взгляд и пробормотала:

– Ой, пошел ты к черту!

И снова, как в тот раз, выбежала из комнаты на яркий солнечный свет. Не успела она выйти за дверь, как поняла, что оказалась такой же уязвимой и обидчивой, каким, по ее словам, был он, и чуть не вернулась. Но гордость удержала ее. И она пошла дальше.

Улицы поселка словно вымерли. Было четыре часа пополудни. На бескрайнем безоблачном небе распухшее солнце проглядывало сквозь красноватую дымку зноя; жестяные крыши давали тусклый, сумеречный отблеск. Похоже было, что скоро пойдет дождь, а пока что продолговатый пруд с коричневой водой, окаймленной потрескавшейся грязью, настолько высох, что от него осталась только лужица. Перед баром стояло с полдюжины больших автомобилей; возле станции – штук двадцать машин похуже, в том числе и машина ван Ренсберга, и все они были набиты детьми самых разных возрастов.

«Африкандерский элемент» – как называют местных жителей англичане – приехал сюда за почтой.

Обычно легче подмечать нелепости и противоречия в социальной системе той или иной страны, когда находишься за ее пределами, и очень трудно – когда сам вырос в этой стране. Марта, пожалуй десятки раз видевшая эту картину, будто только сейчас прозрела – быть может, оттого, что она чувствовала себя обиженной и отвергнутой Джоссом, – ибо в поведении и в характерах этих людей было что-то, перекликавшееся в данную минуту с ее собственными чувствами.

В дни, когда прибывала почта, здесь можно было увидеть машины, принадлежавшие людям самого разного достатка – от огромных американских автомобилей табачных фермеров до неуклюжих драндулетов, как у Квестов; но владельцы этих машин, собираясь вместе, не думали о разнице в их общественном положении. Англичане и шотландцы, валлийцы и ирландцы, богатые и бедные – все хлопали друг друга по спине и называли по имени, точно члены большой семьи, исполненные друг к другу самых теплых, хотя и несколько искусственно подогретых чувств, так как встречаться на почте, на спортивных состязаниях и танцах еще не значит принадлежать к одной общине, ибо община – это собрание людей, живущих общей жизнью. А в данной местности было несколько самостоятельных общин – впрочем, членов их роднило лишь то, что они называли друг друга по имени, обменивались поздравительными открытками к Рождеству и были представлены в парламенте одним депутатом. В восточной части этого края, на склонах и уступах Джейкобс-Бурга, жили семьи табачников, и здесь общим знаменателем было богатство; остальные относились к ним снисходительно: ведь табачники славились попойками, разводами и присущей современным людям непоседливостью. К северу и к западу от фермы Квестов расселились семьи шотландцев, в большинстве своем связанные узами родства, – трудолюбивые, скромные, общительные люди, часто ходившие друг к другу в гости. С полдюжины ирландцев поселилось на склонах Оксфордской цепи, но никакого единения между ними не было – ну разве можно представить себе ирландца, который не был бы любопытнейшим индивидуалистом! Неподалеку от них находилось пять ферм, где жили англичане, принадлежавшие к той породе чудаков, которая расцветает пышным цветом только в колониях: полковник Кастерс, к примеру, который жил совсем один в каменном особняке, весь день спал и всю ночь читал, готовясь к написанию «Истории меланхолии на протяжении веков», – он был твердо уверен, что в один прекрасный день начнет свой труд, хотя ему было уже за семьдесят. Потом был еще лорд Джейми, который разгуливал голышом вокруг своей фермы и питался только фруктами и орехами; он яростно пререкался с женой из-за того, что она одевает детей, ибо считал, что даже пеленка, в которую завернут младенец, является оскорблением Господа Бога,

создавшего Адама и Еву нагими. Рассказывали, что как-то раз он прискакал в деревню на огромной вороной лошади с рыжей гривой, совсем голый, с развевающейся рыжей бородой, отливавшей огнем на солнце, – большущий, здоровенный, с пронзительным взглядом наивных голубых глаз, сверкавших из-под завитков на лбу, совсем как у изумленного дикаря. Он спрыгнул с лошади, зашел в лавку и попросил фунт табаку, бутылку виски и еженедельную газету; и все, кто был в лавке, якобы поздоровались с ним, точно он был одет, так же как и они. Потом заговорили о погоде; с тех пор он ни разу больше не появлялся нагишом, и происшествие отошло в область преданий, относящихся к эпохе кафрских войн, пионеров и диких нравов. Какой интересной, наверно, была тогда жизнь, вздыхали обитатели тех мест, вспоминая своих предков, а ведь и прошло-то всего каких-нибудь тридцать лет с тех пор, как сюда приехали первые поселенцы. Вот было бы здорово, если бы этот дикарь на черной лошади снова появился во всей своей скандальной красе! Вот было бы здорово, если бы командор Дей вошел вдруг в лавку (как это и было однажды в ту золотую пору) в сопровождении двух прирученных леопардов, шествовавших по бокам, и трех наложниц, шествовавших сзади! Но увы, увы, он не появлялся, и они тоже не появлялись – время легенд прошло.

На протяжении многих лет эту группу безобидных чудаков отделяли от фермы Квестов сотни акров пустующей земли, считавшейся слишком бедной для того, чтобы вести на ней хозяйство. У ее границы, рядом с Квестами, поселились ван Ренсберги, словно первая ласточка; лишь за пять лет до начала этого рассказа сюда приехала семья африкандеров в одном из тех крытых фургонов, о которых в этих местах знали лишь понаслышке да из книг о великих следопытах. Вслед за ними прибыло еще одно семейство, потом еще... И вот теперь, в самом сердце этой местности, где люди жили на больших фермах с двумя-тремя детьми, экономкой, а иногда и управляющим, выросла община крепко спаянных, держащихся особняком голландцев; в то время как англичане обрабатывали тысячи акров, они обрабатывали всего каких-нибудь сто пятьдесят, зато получали с этой земли неплохой доход; в каждой семье было по девять-десять крепких, здоровых детей, в поселке имелся собственный клуб и островерхая церковь, где прихожане молились своему гневному богу. Они сами творили себе религию – это чувствовалось даже в громовых раскатах их голосов.

Они приезжали за почтой в такие дни, когда в железнодорожном поселке никого не было. Ставили машины рядком перед лавкой Сократа; все вместе отправлялись в гараж, что по ту сторону полотна; все вместе возвращались на станцию – друг за дружкой, гуськом, медленно раскачиваясь, как бы в такт движению крытых фургонов.

Так было и сегодня. Перед лавкой Сократа стояли в ряд одиннадцать машин, из которых вышло столько народу, что можно было бы заселить целую деревушку, – мужчины, женщины и дети; разбившись на кучки, они болтали, читали почту, ребятишки играли.

Марта стояла перед лавкой Сократа среди мешков с зерном, смотрела на этих людей и пыталась понять, что же в них создает такое впечатление сплоченности. Внешне это были сильные, ширококостные люди с открытыми лицами, унаследованными от их голландских предков. Но ведь слово «голландский» обычно вызывает представление о светлой коже и светлых волосах, голубых глазах и спокойном нраве, не так ли? Здесь же были большей частью смуглые брюнеты – точно солнце прокалило их беззащитную белую кожу и белокурые пушистые волосы, чтобы придать им большую сопротивляемость, и кожа их в южных широтах стала сухой, а волосы – жесткими. Женщины постарше одевались во все черное – здесь это считалось цветом почтенного возраста, тогда как в странах с другой культурой и в других условиях – это цвет траура или признак утонченного вкуса. Более молодые женщины носили пестрые платья – скорее миленькие, чем элегантные; девочки иногда – для защиты от солнца – надевали традиционные чепчики с широкой накрахмаленной оборкой; мужчины, как принято в этой стране, носили короткие штаны цвета хаки и рубашки с открытым воротом. Нет, одежда отражала лишь их склонность к вечному передвижению, непоседливость, даже неуверенность в завтрашнем дне; и если эти хорошенькие чепчики вы не встретите больше ни в одной стране мира, то платья на девочках словно сделаны по моделям английских журналов; и если никто, кроме голландок определенного типа, не носит таких черных кружевных шляп (стоит вам завидеть такую шляпу ярдов за сто впереди, как вы уже знаете, что под нею окажется широкое, деловое, веселое и грубоватое лицо), то черные платья, в каких они ходят, по всей вероятности, выпускаются в Америке тысячами.

Однако впечатление сплоченности создавалось не этим, а чем-то другим – быть может, упрямой уверенностью в себе и общим обликом, присущим закоснелым колонизаторам, хотя в данном случае это были колонизаторы в стране, считавшей, что она уже прошла стадию колонизации.

Да, не так-то легко облечь в плоть и кровь какую-либо идею: Марта со стыдом припоминала, как мимоходом, не задумываясь, не раз заявляла Джоссу, что ненавидит расовые предрассудки, и вместе с тем всегда и прежде всего обращала внимание на то, к какой группе или национальности принадлежит тот

или иной человек, какого цвета у него кожа, а уж потом – каков он сам по себе. И так, Марта стояла на веранде перед лавочкой Сократа, смотрела на пустынную пыльную площадь, простиравшуюся до железнодорожного полотна, и думала о разных людях, которые проходят тут: туземцы, бесчисленные и безымянные; африкандеры – в самом слове этом было что-то поэтическое и породистое, говорившее об их крепких корнях; англичане, разделенные на множество группок и подгруппок и державшиеся вместе только благодаря сознанию, что «это британская страна» и они – хозяева в ней. И каждая группа, община, клан, объединяющие людей одного цвета кожи, жили и боролись отдельно от остальных в тяжелой ненормальной разобщенности; казалось, сама земля, небо, палящее солнце создают здесь эту атмосферу обособленности, а безбрежная ширь вселенной, с ее гигантским небесным куполом и необъятными горизонтами, опоясанными горными хребтами, все время напоминают человеку и никогда, ни на минуту не дают ему забыть о беспощадной неустанной борьбе почвы, воды и света, вселяющей жажду самоутверждения в жителей земли, которые, точно затерявшиеся в пустыне следопыты, без конца ссорятся, обуреваемые страхом, что они изберут не тот путь, хотя спасти их может лишь трезвое взаимопонимание и доверие друг к другу. Марта в самой себе ощущала противоборство самых разнообразных сил; усилие мысли, которое требовалось для того, чтобы изгнать из своего сознания такие слова, как «черный», «белый», «нация», «раса», изматывало ее, голова у нее болела, и тело было словно налито свинцом. Взглянув на машину ван Ренсберга, Марта подумала, что вот она знает эту семью уже столько лет и тем не менее ей сейчас не хочется даже пересечь пыльную площадь и поздороваться с ними. Все-таки она спустилась с веранды и направилась к их машине, но тут, когда уже было поздно отступить, ей вдруг пришло в голову, что, возможно, у ван Ренсбергов вовсе нет желания, чтобы все видели их дружбу с Квестами, и она смущенно улыбнулась.

Марта остановилась у дверцы машины и поздоровалась с мистером ван Ренсбергом. Он кивнул ей и, продолжая читать газету, повел плечом, как бы указывая на заднее сиденье, где расположилась Марни с двумя замужними сестрами, которые держали на коленях своих малышей. Рядом с мистером ван Ренсбергом сидел какой-то молодой человек; он поздоровался с Мартой, и она поспешила улыбнуться ему в ответ, подумав: «Должно быть, это их двоюродный брат», так как он был очень похож на ван Ренсбергов.

Марни принужденно улыбалась; она растерянно посмотрела на спину своего отца, и Марта тотчас пожалела, что подошла к ним. Взглянув через плечо мистера ван Ренсберга, она увидела, что он читает самую яркую националистическую газету из всех, издающихся на юге Африки, и хотя она не

знала языка, ей не трудно было понять, что там написано, ибо слова и выражения, которыми пользуются националисты, одни и те же на любом языке. Но сознание, что человек с коротко подстриженными черными волосами разделяет мнения, наверняка содержащие протест против самого существования англичан в этой стране, побудило Марту понизить голос, точно она совершала преступление, и сказать, обращаясь к Марни:

– Почему бы тебе не зайти ко мне как-нибудь на днях?

– Я бы с удовольствием зашла, право же, с удовольствием, – сказала Марни тоже вполголоса, еще раз бросив взгляд на отца. – Твое платье, Марта, – просто блеск, – добавила она. – Ты мне не дашь снять фасон?

– Конечно. – Марта поглядела на несколько располневшую фигуру Марни. – Приезжай к нам на целый день...

Она проговорила это чуть ли не шепотом: нелепость происходящего злила ее. Затем они с Марни торопливо простились, улыбнувшись друг другу, точно двое заговорщиков. Марта улыбнулась также приятному молодому человеку, сидевшему на переднем сиденье, и быстро направилась обратно в лавку.

Она не нашла никого, кто подвез бы ее домой. А ей очень улыбалась мысль пройти пешком; она так и сделала бы, но... девушка представила себе, сколько глаз будет с любопытством следить за ней, если она отправится одна пешком по дороге, где за день может пройти десяток машин. Ведь «белые девушки не должны...». Итак, она стояла в раздумье на веранде, как вдруг увидела приближающегося к ней Джосса и невольно улыбнулась: хоть Марта и относилась к Джоссу с большой теплотой, его занятный вид рассмешил ее. На нем был строгий темный костюм, под мышкой он держал книжки и ступал как-то осторожно, не торопясь, глядя себе под ноги и слегка сутулясь. Он уже сейчас казался тем чинным юристом, каким стремился стать; среди этих загорелых, одетых в хаки людей он производил впечатление обитателя другой планеты; он знал это и был этому рад. Ведь все эти фермеры – дети земли: прежде всего бросалось в глаза их могучее тело – сильные плечи, голые мускулистые ноги, точно вылитые из бронзы, широкий, пружинистый шаг или мощный бросок руки при ходьбе; двигались они на редкость красиво – свободно, неторопливо, под стать бескрайним просторам страны; здесь не увидишь неуверенной и осторожной походки человека, тщательно следящего за тем, чтобы не столкнуться с кем-нибудь. Да, здесь достаточно места, чтобы издали

рассмотреть человека, будь то мужчина или женщина, – охватить взглядом с головы до ног. Потому-то вы прежде всего и замечаете самое характерное: походку, манеру держаться, а уж потом видите лицо. И до чего же оно совпадает с первоначальным впечатлением от человека – какие у всех этих людей красивые, честные лица, правдивые, здоровые, не ведающие страха, ни от кого не таящиеся. И наконец – глаза. Они завершают впечатление – посмотрите этим людям прямо в глаза: они встретят ваш взгляд открыто, без тени фальши. Нам нечего скрывать, говорят эти глаза: все на виду – хотите берите, хотите нет. Но в глубине этих дружелюбных карих, этих приветливых голубых глаз вы неизменно уловите какое-то смущение – трудно определить, что это, но заметно оно, пожалуй, яснее всего в минуту смеха. Человек рассмеется громко, заразительно, от всей души, а глаза смотрят куда-то в сторону: они как бы не здесь, они отсутствуют, в них какая-то пустота, чего-то недостает. Возьмите хотя бы статных молодых колонистов, разгуливающих по Стрэнду со своими английскими родственниками. Какая красивая молодежь, как они сложены: на голову выше всех остальных, загорелые, мускулистые, сильные, как лошади. А теперь загляните им в глаза. Они словно говорят: «Чего вы от нас хотите? Разве вам не достаточно нашего тела?» Вы уловите в них легкое раздражение, а в глубине зрачка не обнаружите той мягкой светящейся тьмы, которая там должна быть. Чего-то в этих глазах недостает.

По-видимому, нельзя иметь и то и другое, надо сделать выбор – и Джосс выбрал без колебания.

Глядя на него, Марта почувствовала, как в ней пробуждается неуместная, но вполне определенная жалость. Почему жалость? Ведь она завидовала ему до боли: он-то знает, чего хочет, и знает, как этого добиться. Она продолжала смотреть на подтянутую фигуру Джосса в темно-сером фланелевом костюме, – вот он осторожно переходит залитую солнцем пыльную площадь, и кажется, будто каждый нерв и каждый мускул его тела служат прямыми проводниками его воли. Марта видела, как он прямо, в упор смотрит перед собой, весь в этом взгляде, так что настоящее представление о нем можно получить, лишь заглянув ему в глаза. Марта видела, какая разница между Джоссом и всеми этими фермерами, и отчасти завидовала ему, а отчасти его жалела. Жалела? Почему? Разве человек, который знает, что он выбрал и почему, достоин жалости?

Марта следила за ним незаметно – чтобы иметь право самой себе сказать, что ничуть она за ним не следит: она боялась, что он может пройти мимо, лишь

официально кивнув ей в знак приветствия. Но он подошел прямо к ней, протянул книги и отрывисто сказал:

– Я думаю, эти книги тебе понравятся.

– А откуда ты знал, что я еще здесь? – чисто по-женски переводя разговор на другую тему, спросила она.

– Мне же видна лавка сквозь деревья.

Марта вдруг почувствовала беспричинную злость, точно узнала, что за ней шпионили. Но тут он спросил:

– Как ты намерена добираться домой?

И она вызывающе ответила:

– Пойду пешком.

Однако Джосс, должно быть, не видел в этом ничего особенного, а потому, помолчав немного, он лишь сказал: «До скорой встречи!» – и пошел обратно через пыльную площадь. Марта была разочарована: он мог бы, по крайней мере, предложить ей вернуться к ним, подумала она. Потом сообразила, что он, наверно, ждал, чтобы она сама намекнула ему на это, и смутилась. Заставив себя не думать больше о Джоссе, после встреч с которым у нее всегда оставалось ощущение, что она не выказала должной чуткости и понимания, и взяв под мышку книги, которые точно придали ей уверенности в себе, Марта спустилась с сократовской веранды и зашагала по дороге домой.

Она никогда не совершала этого путешествия пешком – всегда в машине, а ребенком – на согретых солнцем, шершавых мешках с зерном, грудой наваленных в фургоне. Всю первую милю она вспоминала, как, поскрипывая и покачиваясь, двигался старый фургон, и ей казалось, что он вот-вот развалится надвое: тяжелые мешки как бы удерживали его на месте, а волю тянули вперед – на передке фургона это особенно чувствовалось. Здесь Марта и любила сидеть, вздрагивая и прислушиваясь, как под ней трещат доски, грозя в любую минуту разлететься на куски; но они все-таки держались и милю за милей медленно

несли свой груз. Марта вспоминала, как угрожающе шевелились под нею мешки, – тяжелые это были мешки, но они перекатывались и съезжали с места от малейшего наклона повозки. Марта вспоминала приятный, теплый, отдающий свежей травой запах навоза, падающего лепешками на дорогу, и, хотя из-под колес фургона непрерывно поднимались вверх фонтаны красного песка и Марта ехала в облаках крутящейся пыли, она все время чувствовала сладкий аромат недавно пережеванной травы, точно огромные воны только что вернулись с заливных лугов, где растет жирная, сочная трава.

Через некоторое время Марта в нерешительности остановилась у фермы Макдугалов: если она зайдет, ей предложат чудесного шотландского чая с пресными лепешками, жареные пирожки и свежесбитое масло. Но она не зашла – Макдугалы до сих пор не замечают, что она уже мисс Квест, и по-прежнему обращаются с ней, точно она младенец, а уж с этим она никак не может мириться.

Марта пошла медленнее: ей хотелось подольше продлить путешествие; она наслаждалась привольем – станция, где, как она была убеждена, все на нее глазают и судачат о ней, осталась далеко позади, а дом, где уже само существование ее родителей напоминало о том, что она должна быть вечно начеку, вечно готова к отпору, еще не был виден. Сейчас некому было за ней следить, кругом – ни души, и она не спеша брела вперед, то перескакивая через колеи, то наклоняясь, чтобы выдернуть длинную, сладкую, точно сахарный тростник, травинку, которую так приятно жевать, когда идешь по пыльной дороге. Марта была счастлива этим ощущением полной свободы, и в то же время ей было грустно оттого, что уже близок дом; оба чувства все росли, и внезапно она поняла, что эта глубокая радость, смешанная с меланхолией, уже знакома ей, она уже ощущала ее и... Но Марта тотчас отбросила мысль, промелькнувшую в ее мозгу, словно тень от крыла птицы: она знала, что это чувство нельзя в себе вызвать. Его не ждешь – оно точно гость, который приходит без предупреждения. Более того: достаточно было ей с восторгом, но не без страха подумать о том, что вот оно сейчас придет, как оно исчезало – гость любил таинственность, Марта знала это и потому поспешила переключиться мыслями на другое. В то же время она подумала о том, что это ощущение посещает ее в те минуты, когда на нее, как она это презрительно называла, «нападает религиозность»; переход к атеизму – а решила Марта на него в один миг, с такой же легкостью, с какой снимаешь перчатку, – был мучителен для нее лишь постольку, поскольку она считала, что, как человек честный, должна распротиться с этим посещавшим ее чудесником – божественным экстазом. А потом оказалось, что такой жертвы никто от нее не требовал, оказалось, что...

Усилием воли Марта остановила поток мыслей – настроение у нее уже испортилось, она была раздражена; не надо копаться в себе, не надо анализировать: ну зачем ей следить за работой собственного мозга, точно это какой-нибудь агрегат. Она вдруг заметила, что идет очень быстро и красоты природы – трава, деревья – перестали волновать ее. Был вечер, и притом чудесный: солнце заливало расплавленным золотом темную зелень листвы, темно-красную почву, светло-желтую траву, окрашивая все в торжественно-яркие тона предзакатного часа. Внимание Марты привлекло одинокое дерево с белым стволом в легком облаке поблескивающих листьев – оно внезапно предстало перед ней, будто выросло из плотной, спекшейся красной земли на небольшом пригорке, озаренное волшебным, как бы отраженным небесным светом, и сердце Марты болезненно сжалось от восторга, к которому примешивалась грусть. Она сознательно замедлила шаг, наслаждаясь этой меланхолической грустью; преодолев небольшой подъем, она вышла на площадку, где деревья расступались и открывался широкий вид на долину, – Марта никогда не видела ничего подобного, и зрелище это заставило ее забыть обо всем. Отсюда был виден их дом, прилепившийся у самого подножия зеленого холма, а между ним и тем холмом, где стояла Марта, простирались серебристо-золотые поля маиса; отсюда было миль пять до владений ван Ренсбергов – темной полосы деревьев, за которыми, точно стена, торжественно вздымалось безоблачное небо. Маис покачивался и шелестел, свет волнами пробегал по нему; вверху, неподвижно распластав крылья, парил ястреб; и смутный, до сладости мучительный экстаз овладел Мартой – на этот раз с такой силой, что она уже не боялась утратить его. Вокруг безмолвно стояли заросли, а на склоне, там, где их не было, мягко волновалась и чуть шелестела в лучах заходящего солнца трава; где-то поблизости фиалковое дерево изливало, словно благословение, свой аромат. Марта стояла, точно оцепенев: теперь она была уверена, что долгожданная минута придет. Уголком глаза она уловила какое-то движение и осторожно повернула голову, чтобы не нарушить того, что нарастало в ней. Марта увидела маленькую антилопу; она вышла из-за деревьев и, помахивая хвостиком, остановилась в нескольких шагах от девушки. Марта боялась пошевелиться. Антилопа посмотрела на нее, потом повернула голову и, прижав уши, уставилась на заросли. Из-за деревьев вышла вторая антилопа; обе постояли, поглядели на Марту, потом, изящно перебирая ногами и звонко цокая по камням копытцами, пошли прочь, а солнце теплым светом заливало их шелковистые коричневые бока. Пройдя немного, они опустили головы и принялись щипать траву, нетерпеливо помахивая короткими хвостиками, на которых блестели белые пятна. Вдруг Марта почувствовала новый прилив восторга – и в ту же минуту вспомнила то, что всегда забывала: ведь это откровение, которого она всегда так ждала, несло с собой не радость, а боль;

вспоминала же она всегда восторженное состояние, наступавшее уже потом, под конец, забывая, как тяжело ей было вызвать это состояние, которое, однако, не было ни «экстазом», ни «озарением» и ничем похожим на них, ибо все эти слова подразумевают нечто радостное. Из поэтической литературы, на которой почти всецело воспитывалась Марта, она, конечно, знала, что подобные состояния бывают нередко у людей религиозных. Но у нее это «мгновение» было так не похоже на все то, что, судя по описаниям, переживали другие люди! И лишь поняв, что это – явление самое обычное, «характерное для юношеской поры», как она с горечью и обидой сказала себе, Марта подумала: «Да ведь, пожалуй, то же самое бывает и у других!» Но в таком случае все они лжецы, все до единого; а впрочем, понятно почему: ведь и она обычно забывала, сколь мучительным было это озарение.

Несомненно, с чего-то все начиналось. Вот чувства этого нет – и вдруг оно появляется: его не избежишь и не спугнешь. Медленно разрастается ощущение слияния с природой – и вот сама Марта, и маленькие антилопы, и колышущиеся травы, и нагретые солнцем деревья, и склоны холмов в волнах серебристого маиса, и огромный купол синего света над головой, и комья земли под ногами – все становится единым целым, сотрясающимся от распада пляшущих атомов. Марта чувствовала, как подземные реки вливаются в ее артерии, мучительно прокладывая себе путь, и артерии разбухают от невероятного давления; плоть ее уподобилась земле – в ней, точно на дрожжах, идет процесс роста. Глаза Марты были широко раскрыты и неподвижны, точно глаз солнца. Ни секунды дольше (если тут применимо понятие времени) не могла бы она этого вынести, но вдруг внезапный рывок вперед – и все кончено: вот это и есть то «мгновение», которое невозможно потом припомнить. Ибо в этот отрезок времени (чем его измерить?!) Марта до конца постигла собственное ничтожество и всю незначительность рода человеческого. В ее ушах стоял первозданный скрежет – то вращались огромные колеса движения; в звуке этом не участвовал человек – так, покачиваясь, скрипит влекомый волами фургон. Не участвовал в нем и голос Марты – и все-таки она была частью всего этого: помимо ее воли ей разрешено было слиться с этим – на определенных условиях. На каких же? В тот миг, когда пространство и время (но ведь это слова, а насколько понимала Марта, слова здесь были равносильны крику ребенка среди урагана) формировали ее плоть, она поняла, что значит ошибаться; ошибалась же она в своем представлении о себе и о своем месте в хаосе материи! И теперь она должна была стать чем-то совсем другим – как если бы что-то новое нуждалось в ее плоти, чтобы обрести форму, как если бы существовала какая-то необходимость, требовавшая, чтобы Марта распалась и была заново создана в соответствии с этой необходимостью. Но ощущение это быстро прошло: волна

схлынула, оставив Марту стоять на дороге, а она протягивала руки, чтобы схватить ускользавшее «мгновение», не дать ему кануть в разрушающий и созидающий хаос тьмы. Однако пережитое уже отошло в область прошлого, и вместо целого процесса у Марты сохранилось лишь воспоминание о чем-то одном: память многое меняет, и Марта в тоскливом томлении уже не могла дожидаться, когда же ей вновь дано будет «пройти через это».

Ей был брошен вызов, но она его не приняла. И ее мучило чувство тоски. Она знала, что все это бред, стремление к чему-то, чего никогда не существовало, – словом, к «экстазу». А экстаза-то и не получалось, было лишь мучительное познание. Словно прозвенел удар молота. Нет, нужно какое-то новое слово, чтобы определить подобное состояние.

Внезапно Марта очнулась и увидела, что стоит у дороги, прямо в траве, и смотрит на двух маленьких антилоп, которые, равнодушно помахивая хвостиками, щиплют траву, все дальше углубляясь в заросли. Марта вспомнила, что часто стреляла в этих зверьков, но теперь она никогда больше не будет этого делать – ведь еще совсем недавно, в момент озарения, они были частью единого целого. Однако стоило Марте решить это, как в ней поднялось раздражение и злость на собственную беспомощность, словно она поймала себя на бесцельной лжи. Раздражение заглушало в ней сейчас все остальные чувства – не грусть, а простое, обиденное раздражение, тем более сильное, что сейчас, через какие-нибудь пять минут после «озарения», она уже вспоминала о нем как о чем-то бесконечно радостном и чудесном – видимо, об этом и нужно вспоминать как о величайшем счастье.

Марта медленно поплелась домой, решив пройти кратчайшим путем – вдоль изгороди, через маисовые поля. Земля была сухая, точно утрамбованная, вся в трещинах от засухи, – ногам Марты было больно ступать по ней в неудобных сандалиях, которые были красивы на вид, но мало пригодны для ходьбы. Она с трудом поднялась на холм и прошла прямо к себе, чтобы немного собраться с мыслями, прежде чем встретиться с родителями – точнее, с матерью, ибо встреча с отцом была равносильна попытке привлечь внимание рассерженного призрака.

Увы! Ни мечтаний, ни решений... Очутившись у себя в комнате, Марта почувствовала лишь злость и обиду – она была зла на всех окрестных жителей, на мистера Макферлайна, на Марни, которая теперь обязательно «забежит», чтобы снять фасон платья.

Миссис Квест вошла с керосиновой лампой – было уже темно.

– Ты дома, девочка? – воскликнула она. – А я так беспокоилась! Почему же ты не сказала мне, что вернулась?

– Как видишь, со мной ничего страшного не произошло: цела и невредима и все еще девственница.

– Дорогая моя... – начала было миссис Квест, однако, спохватившись, умолкла и повесила лампу на стену. Пламя заколебалось, мерцая синеватыми отблесками, потом разгорелось и залило приятным желтоватым светом неровную штукатурку вплоть до самых стропил, где в тени поблескивал виток потускневшей от времени проволоки. – Как ты добралась домой? – осторожно спросила миссис Квест.

– Пешком, – вызывающе ответила Марта и даже почувствовала некоторое разочарование, когда миссис Квест ни словом не отозвалась.

– Ну, поторапливайся, сейчас будем ужинать.

Марта послушно последовала за матерью и вдруг, неожиданно для самой себя, небрежно бросила тоном легкомысленной девчонки:

– Этот мерзкий старикашка Макферлайн вздумал было заигрывать со мной.

Она взглянула на отца, но тот медленно крошил хлеб, словно соразмеряя свои движения с течением своих мыслей, зато миссис Квест поспешно выпалила:

– Какая ерунда! Ты все это вообразила. Он не мог себе этого позволить.

Намек на то, что она слишком молода для такого рода ухаживаний, побудил Марту добавить:

– А потом в нем заговорила совесть, и он предложил мне десять шиллингов.

Взглянув еще раз на погруженного в свои мысли отца, она смущенно хихикнула, а миссис Квест сказала:

- Ну, уж он знает, как себя вести. Он очень порядочный человек.

- Порядочный? - язвительно заметила Марта. - А в деревне полным-полно его ребят!

- И зачем ты слушаешь всякие сплетни! - торопливо перебила ее миссис Квест, бросив взгляд на служанку, подававшую блюдо с овощами.

- Да ведь это всем известно. И потом ты же сама говорила об этом миссис Макдугал.

- Ну, это еще ничего значит, и я, право, не думаю...

- Лицемеры проклятые! - сказала Марта. - Болтают всякую чепуху насчет цветных, а вот мистер Макферлайн может спать с кем ему заблагорассудится, и...

- Дорогая моя! - воскликнула миссис Квест, бросив отчаянный взгляд в сторону невозмутимой служанки. - Подумай, что ты говоришь!

- Ну конечно, тебя только это и заботит. Лишь бы вся ложь и безобразие были скрыты, а там...

Миссис Квест вскипела, повысила голос, и - сражение началось: мать и дочь высказали друг другу все, что уже было высказано много раз; они кричали, перебивая одна другую, пока поднятый ими шум не заставил мистера Квеста гаркнуть:

- Да замолчите вы обе!

Мать и дочь с облегчением посмотрели на него: можно было подумать, что они только этого и добивались. Но мистер Квест больше не промолвил ни слова. Бросив на них взгляд, полный недоумения и отчаяния, он опустил глаза в тарелку и продолжал есть.

– Ты слышала, что сказал отец? – лицемерно спросила миссис Квест.

Марте было и больно и страшно оттого, что отец и мать объединились против нее, и она выкрикнула:

– Эх вы! Готовы на что угодно пойти, лишь бы все было шито-крыто, а еще христиане! Ну что вы делаете на самом деле?..

Но она тотчас устыдилась детской наивности своих слов. Впрочем, то, что мы говорим, обычно бывает намного мельче того, что мы думаем; а Марте казалось, пожалуй, самым обидным, что родители до сих пор смотрят на нее как на малое дитя, хотя она давно уже выросла. Вот и этот разговор потому так ужасает ее родителей, что свидетельствует о чрезмерном ее развитии. Но слова Марты все же пробили защитную броню, за которой прятался ее отец, ибо он поднял голову и со злостью объявил:

– Ну что ж, если мы такие плохие и тебе не терпится жить по-своему, можешь убираться на все четыре стороны. Пошла вон! – гаркнул он, возбуждаясь от собственных слов. – Пошла вон, убирайся и оставь нас в покое!

Марта в ужасе затаила дыхание: ведь собственный отец выгоняет ее из дому – ее, семнадцатилетнюю девушку! Но где-то внутри она понимала, что его слова – плод эмоциональной разрядки и обращать на них внимание не следует.

– Очень хорошо, – зло сказала она, – я уйду.

Марта и ее отец смотрели друг на друга через стол – мать сидела на своем обычном месте во главе стола. Две пары темных, гневных глаз словно впились друг в друга; мистер Квест первый опустил голову и виновато пробормотал:

– Я просто не могу больше выносить эти вечные ссоры, ссоры, ссоры! – И он с капризной раздражительностью швырнул на пол салфетку. Служанка тотчас нагнулась, подняла ее и подала хозяину. – Благодарю, – автоматически произнес мистер Квест, снова расстилая салфетку на коленях.

– Дорогой мой!.. – тихим, умоляющим голосом произнесла миссис Квест.

– Хоть деритесь, если хотите, но только, ради бога, когда меня тут нет, – ворчливо заметил он.

Все умолкли.

Сразу же после ужина Марта удалилась в свою комнату, говоря себе, что немедленно уйдет из дома, и воображение ее заработало, рисуя ожидающие ее заманчивые приключения. На ее кровати лежал еще не развернутый пакет с книгами. Она перерезала веревку, взглянула на названия, и чувство, что все ее покинули, еще больше усилилось. Это были книги по экономике, а ей так хотелось книг, которые могли бы объяснить сумятицу бушевавших в ней чувств.

На следующий день она встала рано, взяла ружье, вышла пройтись и убила небольшую антилопу возле Большой Табачной Земли (где ее отец выращивал табак в тот год, когда еще верил, что на этом можно разбогатеть). Мимо проходил туземец; Марта окликнула его и попросила отнести тушу к ним на кухню, хотя там, как оказалось, мяса было в избытке.

Пожалуй, может сложиться впечатление, что Марта заранее решила поохотиться, а на самом деле она просто рано проснулась и, поняв, что заснуть ей больше не удастся, решила выйти погулять – восход так чудесно окрасил небо; ружье она прихватила потому, что у нее вошло в привычку брать его с собой, хотя она почти никогда им не пользовалась; и в антилопу она выстрелила только потому, что та попалась ей на пути: Марта была очень удивлена, когда животное упало замертво; ну а уж раз оно мертво, зачем же отказываться от мяса. Так что все получилось совсем неожиданно – во всяком случае, в представлении Марты. И тем не менее смутное чувство вины не покидало ее. «О господи, ну не все ли равно, как это получилось?» – подумала она.

После завтрака Марта снова принялась просматривать книги Джосса. Они были написаны явно доброжелательными людьми, которым претит бедность. Марта переворачивала страницы с таким ощущением, что все это ей давно известно. Она не только была согласна с любым выводом, доказывавшим несправедливость системы, обрекшей ее, Марту Квест, жить на ферме, а не в Лондоне – «с людьми, с которыми можно отвести душу», – как она зло подшучивала над собой, зная, что это правда только отчасти. Книги эти прежде всего вызывали в ней мысль: «Да, конечно, нищета возмутительна, но почему об этом нужно без конца твердить? И как вы предлагаете изменить все это?» Под «всеми этим» разумелась их ферма, толпы работавших на ней бесправных

туземцев, соседи, считающие, что имеют право жить так, как они живут, и распоряжаться туземцами, как им заблагорассудится. Спокойная убежденность тона, каким были написаны эти книги, казалась просто нелепой в сравнении с теми страстями, которые кипели вокруг поднятых в них проблем. Марта представляла себе, как должен выглядеть автор подобных книг: чистенький, пухлый, слащавый человечек, который сидит у камина в кабинете с задернутыми портьерами, куда не долетает ни единый звук, и копается в своих мыслях.

Марта продержала книжки неделю, а потом вернула их с почтальоном. Кроме того, она приложила записку, в которой говорилось: «Мне хотелось бы почитать что-нибудь об эмансипации женщин». И только после того, как почтальон ушел, она сообразила, что просьба ее наивна и она глупо выдала свои затаенные мысли. С большим трудом заставила она себя развернуть присланный ей пакет. Внутри, как она и ожидала, была записка: «Я рад, что ты за три дня проглотила столько знаний по экономике. Какая же ты умница. Прилагаю весьма полезную книгу по вопросам пола. Я мог бы попросить для тебя книжки у Солли, который собрал неплохую коллекцию трудов по психологии и т.п., но, увы, он отбыл «жить, как ему хочется», а отношения у нас не такие, чтобы я мог давать его книги без спроса». Кроме записки, в свертке была книга «Происхождение семьи и частной собственности» Энгельса. Марта прочла ее и согласилась с каждым словом, которое было там написано. А точнее – с тем, что составляло смысл этой книги: теперь она уже была убеждена, что все браки, заключавшиеся в их округе, нелепы и даже безнравственны, не говоря уже о том, что совершаются они по старинке.

Марта сидела под деревом, поглаживая свои нагретые солнцем плечи – как приятно, что у нее такая упругая нежная кожа; потом перевела взгляд на свои длинные, стройные ноги, и ей почему-то вспомнились раздутые тела беременных женщин – она даже содрогнулась от возмущения, точно увидела предназначенную для нее клетку. Никогда, никогда, никогда, поклялась она себе, хотя внутри ее и росло ощущение, что этого не миновать; потом она подумала о том, что теперь книжки Солли недостижимы для нее, потому что он и Джосс так неразумно ссорятся друг с другом; и еще подумала о Джоссе, к которому испытывала положительно непонятную неприязнь. Она презирала его за то, что он посмел отнестись к ней как к хорошенькой девушке, а через минуту – уже за то, что он поймал ее на слове и просто предложил ей книжки. Это смятение чувств вылилось у нее в какое-то нервное отвращение. Ну что ей дался этот Джосс – великолепно она без него обойдется!

И Марта вернула книгу Энгельса с такой сухой запиской, что от Джосса не пришло ни слова; когда Марта поняла, что ответа не будет, на нее напала тоска, и она принялась бродить по ферме, храня упорное молчание – точно замороженная.

Однажды утром она увидела отца, который сидел на бревне у края поля и наблюдал за тем, как туземцы роют канаву для стока дождевой воды. Мистер Квест держал трубку в зубах и, медленно растирая темный трубочный табак между ладонями, задумчиво следил за рабочими.

– Ну как дела, мальчик? – спросил он, когда Марта под села к нему: по рассеянности он и дочку мог назвать «мальчиком».

Марта положила ружье на колени и, выдернув несколько травинок, чтобы пожевать, погрузилась в молчание, как и мистер Квест: когда миссис Квест не было поблизости, отец и дочь отлично чувствовали себя в обществе друг друга.

Но Марта не могла долго молчать: ей просто необходимо было, чтобы отец обратил на нее внимание; и вот она начала жаловаться на мать, а мистер Квест смущенно слушал ее. «Да, верно...» – соглашался он. Или: «Да, пожалуй, ты права». И всякий раз, когда он соглашался с Мартой, лицо его выражало лишь желание, чтобы она перестала на него нажимать, подумала бы не только о себе, но и о нем тоже. Однако Марта не отставала. Наконец, с обычной своей раздражительностью, он сказал:

– Твоя мать хорошая женщина. – И посмотрел на Марту взглядом, говорившим: «Ну, а теперь хватит».

– Хорошая? – повторила Марта, точно вызывая его на объяснение.

– Видишь ли... – начал он, слегка отодвигаясь от дочери.

– Нет, все-таки что ты имеешь в виду, называя ее «хорошей»? – настаивала Марта. – Ты прекрасно знаешь, что она... Я хочу сказать, что если быть хорошей – значит делать всегда по-своему, лишь бы только были соблюдены традиции, не размышляя, тогда быть хорошей нетрудно!

И она со злостью швырнула камешком в ствол дерева.

– Уж и не знаю, чем ты кончишь, если так начинаешь! – с укоризной сказал мистер Квест.

Подобный разговор происходил не впервые, и он боялся его. И отец и дочь помнили тот первый раз, когда он гневно спросил: «Так, значит, ты не любишь свою мать?» А Марта, разразившись злым смехом, ответила: «Люблю? Какая же тут может быть любовь? Она поступает как ей хочется, только с таким видом, будто она – жертва. А сама всю жизнь все делает по-своему. И ты говоришь о любви!»

После долгого молчания, во время которого мистер Квест постепенно вновь погрузился в свои мысли, Марта сказала вызывающе:

– Дело в том, что я просто не вижу, за что ее можно назвать хорошей! Ты говоришь какие-то слова, которые... не имеют никакого отношения к тому, что происходит в действительности...

Смутившись, она запнулась, хотя ничего сложного в том, что она хотела сказать, не было. Мысль ее сводилась вот к чему: люди часто воображают, что ими руководят совсем иные побуждения, чем на самом деле, и им надо раскрывать на это глаза.

– О господи, Мэтти! – воскликнул мистер Квест, внезапно вскипев, охваченный беспомощной злостью. – Ну чего ты от меня хочешь? Вот уже год, как у нас сущий ад. Вы только и делаете, что ругаетесь.

– Так ты хочешь, чтобы я ушла из дому? – патетически спросила Марта, а у самой сердце запрыгало от радости.

– Я ничего подобного никогда не говорил, – ответил несчастный мистер Квест. – Вечно ты впадаешь в крайности. – И помолчав немного, с надеждой добавил: – А ведь это была бы неплохая идея, а? Ты все время говоришь, что во многих отношениях переросла свою мать, и я должен признать, что это правда.

Марта ждала и надеялась – как и в разговорах с Джоссом, – что кто-то возьмет на себя ответственность за ее поступки, скажет ей, что делать, спасет ее. Мистеру Квесту следовало предложить ей какой-то практический план, и тогда, к немалому своему удивлению, он увидел бы, какая у него сговорчивая и благодарная дочь. А он вместо этого молчал. Молчание длилось уже несколько минут. Наконец мистер Квест с удовольствием вздохнул, посмотрел на залитые солнцем поля, на притихшие, разморенные жарой заросли, потом себе под ноги, где в старом пне копошились муравьи, и вдруг заметил мечтательным тоном:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=19953591&lfrom=201227127) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

Южноафриканская степь, перемежающаяся с низкорослыми деревьями и кустарником. – Прим. перев.

Потомки голландских колонистов в Африке. – Прим. ред.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/doris-lessing/marta-kvest-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)